

А. Клейн Улыбки неволи

Александр Клейн

**Улыбки
неволи**



Александр КЛЕЙН

УЛЫБКИ НЕВОЛИ

(Невыдуманная жизнь. События. Судьбы. Случаи)

*Там, где недостает ума,
недостает всего
Лорд Д. Галифакс*

==== **Издательство «ПРОЛОГ»** =====

1997

ISBN 5-89264-009-4

ББК 63.3(2) 615-49

У 80

За содействие в осуществлении издания этой книги автор выражает сердечную благодарность Главе Республики Коми Юрию Алексеевичу Спиридонову и Государственному Совету РК в лице председателя Владимира Александровича Торлопова и его первого заместителя Ивана Егоровича Кулакова.



Фото И. З. Петрова.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Из обитателей Земли только Человека Бог наделил способностью улыбаться. Больше никого. Пожалуй, ничто не отличается таким многообразием и многозначительностью, как улыбка. Она знаменует счастье, робость, насмешку, беспомощность, торжество, силу, слабость, неловкость, стыд, грусть, унижение, непонимание, понимание, отчаяние; помогает скрывать правду или обнажать ложь и так далее, до бесконечности. Короче, она способна выражать и отражать всё. Конечно, улыбаться или нет — право всякого человека.

Улыбаюсь ли я? А как же? Сержусь ли? Нет. Возмущаюсь? Нет. Жажду мести? Нет. Удивляюсь? Да!

И никогда не перестану удивляться нелепости, глупости, невежеству, низости, несуразности, жестокости, но вместе с тем терпению, выносливости, изобретательности, талантливости, безграничной порядочности, бесконечной доброте и неунываемости. В том или другом освещении, в разных ракурсах в разной степени они представлены в зарисовках с натуры, собранных в этой книге. А то, что в ней немало внимания уделено представителям искусства, — вполне естественно: оно являлось одним из тех немногих живительных лучей, которые время от времени озаряли уголки темного царства неволи. В ее сером, отупляющем однообразии незаметное становилось видимым, мелкое — громадным, незначительное — событием.

Небесполезно обо всем подобном узнать, вспомнить, подумать.

Давайте же это сделаем вместе. А улыбается пусть каждый там, где ему заблагорассудится. Итак, в добрый час!

Автор.

ЗА ПОРОГОМ РАЗУМНОГО

(Общая часть)

Что вызывает смех? Нелепость. Порой она безобидна, порой, когда охватывает все стороны жизни огромной страны, страшна. Наше государство на протяжении многих десятилетий не умело заводить бескорыстных друзей, зато врагов, видимых и невидимых, научилось плодить, оптом и в розницу. Друзья наши, с позволения сказать, купленные. Их содержало государство по всей планете и чуть оно им начинало платить меньше, как они предавали его. Так называемая бдительность, которая в принципе должна проявляться в качестве разумной осторожности и индивидуального подхода к людям, моментально превратилась во всеобщую дурацкую подозрительность, недоверие и недоброжелательность. В свое время меня очень порадовало дело сотрудника советского генштаба Пеньковского, как и некоторых других высокопоставленных лиц из аппарата госбезопасности, без зазрения совести предававших Родину. А ведь все эти типы пользовались у ее руководителей полным доверием и ездили по заграницам без всяких ограничений. А прочие даже в постсталинские времена после заполнения сотен анкет и характеристик не получали разрешения не то что на туристическую поездку за рубеж, но даже на жизненно необходимое лечение. Кто же подводил? Те, кому доверяли. Доверяли, не доверяя друг другу. Такова уж у нас постоянно элита, выкарабкавшаяся к вершинам власти.

О том, как мы умели выкармливать “друзей”, больших и малых, можно судить по многочисленным пере-

воротам в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и т.д. Там, вопя об интернационализме, мы вырастили оголтелых националистов, создали под боком у США “новую Кубу”, у себя вдоль многотысячекилометровой границы — единый могучий Китай, — пример “прозорливости” сталинского “гения”. Последний явно не учел справедливого пророчества Жюль Верна в мало пропагандируемом романе “Война 2138 года”. Полагаю, однако, что великий фантаст лет на сто, по крайней мере, ошибся...

Отобрав у людей Бога, наши правители успешно выращивали за рубежом религиозных фанатиков, в конечном счете приносивших вред и нам самим. Туда, за рубежи, для разжигания классово и национальной преступной розни, террора и бессовестнейшей лживой пропаганды уплывали плоды трудов советских рабочих и крестьян, которые без этого ограбления в пользу иноземцев могли бы вести безбедное существование в нашей богатейшей стране. Но... все мы росли и вырастали в нужде разной степени со всеми характерными признаками нищенской психологии. Нас дешево покупали мелкими подачками и еще дешевле продавали, подчас задаром.

Зато как здорово мы создавали врагов! Чудо, что мы не разучились смеяться... над собой. Но за этот смех не раз платили жизнью. Сколько безвинных “врагов народа” расстреляно и погибло в лагерях и тюрьмах за неосторожно пересказанный или даже услышанный безобидный по сути анекдот о какой-либо нелепой стороне советской действительности или, упаси Боже, о ее вождях!..

А сколько людей поплатились за свой истинный пат-

риотизм!? Несколько примеров. Летчик капитан Де-Вятаев, бежавший из фашистского плена на вражеском самолете с группой советских пленных, сразу же после благополучного приземления на Родине угодил за проволоку: не может быть, что бежал. Подослан с заданием, как и его спутники...

Эти мифические “задания” пришивали каждому, бежавшему из плена. В том числе и мне лично... Мораль: если попал в плен — терпи и не “рыпайся”: убежишь — свои расстреляют или на каторгу отправят. А если не убежишь — просто посадят или сошлют за Полярный круг. Но хоть в живых останешься. Идиотизм! Известный писатель С.Смирнов героев обороны Брестской крепости, оказавшихся в плену, через много лет после войны выискивал по лагерям и ссылкам.

Мой друг, ленинградский кинорежиссер-документалист Вениамин Михайлович Соломоник, снимал в Воркуте во время “оттепели” на пороге шестидесятых годов небольшой фильм о герое — летчике Николае Лошакове. Я его знал. Он тогда работал начальником подземного участка на шахте № 40. А начинал — простым горняком-заключенным. Истребитель Николая сбили возле Невского плацдарма. Тяжело раненый молодой летчик, спускаясь на парашюте, ухитрился запрятать в обуви свой окровавленный партбилет. Он не успел его сдать, как полагалось, перед срочным вылетом. Этот партбилет он пронес сквозь плен и отдал только в нашей контрразведке.

Николаю помог бежать военнопленный Денисюк, работавший в аэродромной службе. Он же достал обим немецкую рабочую форму, помог Лошакову пройти в обеденный перерыв на летное поле и они вдвоем

на комендантском разведчике “Фюзлер-Шторх” поднялись в воздух; под обстрелом немецких и советских зениток перелетели фронт и благополучно приземлились. Результат: Денисюку, как “организатору диверсии”, дали 20 лет каторги, а Лошакову, очень стойко державшемуся на следствии, — 6 лет заключения в лагерях Воркуты с титулом “врага народа” и последующим пожизненным запретом выезжать за ее пределы.

Интересно, что даже после полной реабилитации, после свержения Хрущева, фильм о Лошакове, как и все напечатанные о его подвиге статьи, пошли в архив... Такого, дескать, “не может быть, потому что быть не может” (А.Чехов).

Виктор Боголюбский, старший лейтенант, попал раненый в плен. Когда там осенью сорок второго года объявили набор во власовскую армию, Виктор, горя желанием воевать против гитлеровцев, вступил в нее. Ему доверили эскадрон, также состоявший из бывших пленных, помнивших голодуху и избиения во вражеских лагерях. Высокий, стройный, подтянутый по-военному Виктор понравился немцам. Его направили на фронт, где заранее договорившись с товарищами, он сразу же со всем эскадроном перешел к Красной Армии. Ура!.. Боголюбский получил 25 лет заключения, его товарищи — немногим меньше.

А что говорить о последовавшей вслед за войной “эпидемией космополитов”, когда сном и духом не ведавших за собой вины людей, часто отличившихся фронтовиков, как, например, журналиста Люмкиса или известного еврейского поэта М. Тейфа, осуждали на 25 лет (!) заключения в страшных режимных лагерях.

Пришить “дело” было проще простого. Весь режим-

ный женский лагерь “Депо-Предшахтная” Воркуты состоял из немецких молодых женщин и девушек. Они получили от 15 до 25 лет срока “за шпионаж”: провели родственницу или подругу в Западном Берлине или те оттуда пришли к кому-то из них в гости в восточную часть — и “дело” готово. Опять — “С каким заданием?!..” — и все. Парадоксально, что никому в советском “умном правительстве” не приходило в голову, что содержать многомиллионную армию созданных госбезопасностью шпионов не по карману всем капиталистическим державам, вместе взятым! А тут — докажи, что ты не верблюд?!..

Показательно, что те, кто в действительности совершал преступления на оккупированной территории, всегда отделялись меньшим наказанием, чем безвинные. Для настоящих преступников оно не становилось неожиданностью, они знали, что надо скрывать, и, не торопясь попасть к “своим”, отступали с немцами.

Допускаю, что многие следователи подсознательно в мыслях подставляли себя на место своих жертв: как бы они вели себя в критических ситуациях, и, исходя из этого, руководствуясь личными понятиями о долге, чести и мужестве, убежденно старались приписать подследственным все те гадости, которые они сами совершили бы, очутившись на месте своих жертв.

Я долго не верил, что следователям отпускались определенные планы, что они брали на себя “социалистические обязательства” за какое-то время “разоблачить” не меньше стольких-то “врагов народа”. И те, кто выполнял и перевыполнял эти обязательства, получали ордена и повышения по службе. Чему же удивляться? Да и так ли далеко наша советская и нынешняя

юстиция ушла от прежней? Разве что обязательств не стало.

Конечно, несмотря на жесточайшие инструкции, не все следователи были такими. Некоторые, особенно бывшие фронтовики, знавшие почему фунт лиха, были человечнее. Но и они не забывали, что со смертельной передовой линии огня их перевели в тыл не для того, чтобы оправдывать “врагов народа”.

По собственному опыту скажу: мой второй (после первого зверя) следователь в армейской контрразведке, лейтенант, бывший фронтовик, уверен, имел доброе сердце. Но он не мог по службе оставить меня безнаказанным или “без задания”, о котором после инсценировки расстрела я со страху что-то начал выдумывать первому следователю. “Задание” должно было иметь место, и мы вместе с милым лейтенантом, который сам не куря, доставал мне папиросы и пытался чуть подкормить меня вареной картошкой, мучительно вдвоем старались придумать мне “задание”, так как без него якобы никто не убежал из плена. Естественно, что заодно, “чтобы заслужить доверие немцев”, мы приплетали разную “мелочь”, вроде “неверия в победу Красной Армии”, “рассказы антисемитских (не еврейских!) анекдотов” и т.п.

Примечательно, как в следственных и судебных формулировках использовался могучий и гибкий русский язык. Так в моем приговоре вместо того, чтобы написать “спасая свою жизнь, скрыл свое еврейское происхождение”, записано: “Спасая свою шкуру, скрыл свое происхождение”. О моем же побеге из плена вместо “убежал с дороги в лес, где затем прятался с крестьянами”, записано: “Видя, что дела немцев плохи и

что Красная Армия все равно победит, ушел в лес с крестьянами”. Вот так, по-хорошему, взял и просто ушел: “ауфвидерзейн, камераден!”

В лагере военнопленных я видел расстрелы, сам два раза стоял в шеренгах, из которых высчитывали и расстреливали каждого десятого. В приговоре и следственном заключении это выглядит так: “Присутствовал при расстрелах” (видел — значит, присутствовал, не все ли равно? А значение уже совсем иное...). А кто в плену не видел расстрелов?

Многие осужденные колхозники-белорусы, которых насильно сгоняли на публичные казни партизан, “присутствовали при повешении” и т.д.

Председатель колхоза на Харьковщине Егор Ильич Жук имел медаль ВДНХ (Выставки достижений народного хозяйства СССР в Москве). Когда его село заняли немцы, колхозники единодушно избрали его старостой (так обычно делали, когда колхозники были довольны своим председателем). Как Егор Ильич ни защищал своих односельчан, а молодых ребят помимо его воли угоняли в Германию и поставки молока, яиц и прочих продуктов он выполнял. Значит, “поставлял рабочую силу оккупантам и щедро (!) снабжал последних лучшими продуктами” (попробовал бы он “не снабжать”!..). Удивительно, как тогда не додумались переарестовать всех бывших на оккупированной территории кур, гусей, свиней, коров, “снабжавших вермахт яйцами, молоком и мясом”?... Непонятное упущение.

Следователи не представляли себе иных отношений, кроме советских, не понимали истинного положения на оккупированных землях и психологии немцев. Наши

судили по своим меркам. Считали, что немцы также поощряют гнусное доносительство, рабское угодничество, бесстыдную лесть, как и мы. Но при всех ужасах гитлеризма он царил в Германии к сорок третьему году лишь около десяти лет, а Советская власть - уже двадцать пять! Осмелюсь утверждать, что гитлеризм не успел так испортить немцев, как нас сталинизм. Немцы терпеть не могли льстецов, подхалимов, доносчиков. Конечно, последних они использовали, но презирали и, не дай Бог, если донос окажется ложным, его автору не было пощады.

А у нас... Не случайно только через несколько лет после смерти Сталина в анкетах стали исчезать вопросные пункты: были ли на оккупированной территории, когда, чем там занимались? Был ли на оккупированной территории кто-либо из родственников, когда, что там делал? и т.п. Все “особые приметы” советского режима переносились на вражеский.

Не только по отношению к “военным преступникам” и лицам, оказавшимся в зоне оккупации, применялись следственные “методы”.

Колхозница, собирающая с поля после уборки колоски, чтобы как-то подкормить своих голодающих детишек, получала по закону от 7 августа 1932 года “за хищение социалистической собственности” от пяти до двадцати лет заключения. В последнем случае следователь усугублял вину, и прокурор (как же без него!?) выискивал еще всякие “отягчающие вину обстоятельства”.

Под следствие можно было попасть за ругань в быту на общей кухне, а уж во время следствия, в зависимости от желания следователя, отделаться штрафом или

получить десять лет заключения по политической статье, страшной пятьдесят восьмой. Увы, сколь многое, многое мы забываем! “Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно” (Лермонтов).

Сколько же нелепого, бестолкового творилось (и творится!) в нашей необъятной стране? И упорно все свои неудачи, потери, даже преступления мы готовы свалить на мифических вредителей, “происки иностранных разведок”, шпионов, диверсантов, вместо того, чтобы признаться в собственном головоутиастве.

Наша жизнь и история отражены в гениальных анекдотах, созданных несуразностями “порядка”, который цивилизованному человеку кажется диким.

И мы смеемся. Улыбаемся. Улыбаемся. Порой наши улыбки и смех носят злорадный характер: приятно обдурить мошенника, обвести вокруг пальца негодяя, безнаказанно отколотить начальника. Но обычно наша улыбка горька. Нечто вроде смеха сквозь слезы.

Собранные в этой книге зарисовки отдельных случаев и характеров от начала до конца взяты из жизни. Они отражают быт и нравы эпохи и той ее “географической части”, которая огораживалась колючей проволокой и решетками. Да, все в этой книге — правда. Лишь в двух-трех зарисовках из этических соображений я менял фамилии, оставляя действительными имена действующих лиц.

НЕВОЛЯ! В этом потрясающе точном русском слове соединилось столь многое, что охватить его даже сотнями книжных томов невозможно. В подневольном мире все сплошь и рядом вверх ногами, как в партийном гимне — “Кто был никем, тот станет всем” — и наоборот. Чаще последнее. Судьбы, приметы быта,

история того, как, кто, почему очутился за колючей проволокой, что и как там делал и делалось такое, что подчас может вызвать улыбку, легло на страницы этой непридуманной книги о не столь уж далеком и, боюсь, не невозвратном прошлом. Ибо, как сказал поэт Д. Мережковский, “бессмертна лишь глупость людская”.

Так как в жизни подневольной тоже случались своеобразные радости, скрашивающие бытие, я счел их нужным оттенить. Особо выделил то, что имело отношение к искусству. Оно и в неволе играло особую роль. Судьбы некоторых представителей искусства также нашли отражение в книге. Я счел нужным включить в нее и наброски из истории знаменитого Воркутинского музыкально-драматического театра, в котором выступали многие замечательные мастера сцены, оказавшиеся в заключении. Счел возможным и уместным включить в книгу четыре своих этюда, как я их когда-то назвал, написанных в лагере в 1951-52 гг. Хотя в этих этюдах речь идет о жизни на свободе, но они дают представление о том, что мог думать, о чем мог мечтать заключенный, оторванный от реальной жизни на многие годы.

Пусть же все, собранное в книге (оно, если буду жив, еще будет пополняться моими воспоминаниями), даст вам, дорогие читатели, представление о лучших, заслуживающих улыбки, эпизодах подневольной жизни, о прошлом. От себя замечу:

Как прирожденные паяцы
В угоду зрителю-глупцу,
Весь век готовы мы смеяться,
Хоть слезы больше нам к лицу.

Впрочем, не надо слез и хохота. Достаточно улыбок. Читайте же, думайте, догадывайтесь.

“КАМЕРНАЯ” МУЗЫКА

Вечерняя раздача кипятка закончилась. Еще раз пройдясь по коридору и заглянув в “глазки” всех камер, дежурный надзиратель занял свой пост на табурете у столика под маленьким железным стенным шкафчиком и устало прикрыл глаза.

Тишина располагала ко сну. Надзиратель вздохнул раз-другой, заерзал на табурете, подыскивая позу поудобнее, снова открыл глаза, раздавил на столике перед собой зазевавшегося нерасторопного клопа и подпер голову обеими руками. Задремал.

Что ему снилось — неизвестно. Однако, сквозь свистящие звуки собственного посапывания, все явственнее стали доноситься другие, чуждые тюремному помещению.

Приложенное к поверхности стола ухо улавливало какую-то мелодию. Ее очень тихо, но отчетливо выводил, мягко и немного гнусаво, наподобие гавайской гитары, музыкальный инструмент.

Надзиратель приподнял голову — звуки пропали; опустил голову на стол — опять возникли и, казалось, стали более уверенными.

Протерев глаза, надзиратель осмотрелся, глянул вверх, на измазанную следами от раздавленных клопов стену, на черный диск молчавшего радиорепродуктора над шкафчиком с ключами. Нет, звуки неслись не оттуда. Теперь дежурный различал их, даже не прикла-

дывая ухо к столу. Сомнений не оставалось: играли в одной из камер.

Надзиратель встал, прислушиваясь, направился к дверным “глазкам” и уже возле второго остановился: музыка доносилась отсюда.

“Ох ты, степь широкая” — грустно пела гавайская гитара. Вскоре эта раздольная мелодия сменилась другой, тоже минорной. Будь дежурный пообразованнее, он бы сразу узнал популярный в тридцатых-сороковых годах вальс “Неаполитанские ночи”. Его сменил тоскливый напев “Колокольчика” Гурилева, затем слышались “Амурские волны”, “Серенада” Шуберта.

Привычным движением рука потянулась к ключам у пояса, а глаза впились в смотровое окошечко (“глазок” над кормушкой-форточкой в дверях для выдачи пищи).

Прикрытая частым стальным ситом одинокая лампочка в потолке тускло озаряла маленькую камеру подследственных. Их здесь было десять. Прижавшись друг к другу, девять арестантов сидели на нарах и смотрели на десятого. Тот стоял спиной к “глазку” у стола в узком проходе между нарами и что-то делал. Казалось, он стоит неподвижно. Однако мелодии как-то связывались с его еле заметными движениями и, сменяя друг друга, почти не прерывались.

Неслышно нащупав скважину для ключа, надзиратель, не звякнув, вставил его и резко распахнул дверь. Музыка сразу оборвалась.

При появлении начальника все моментально соскочили с нар и вытянулись как по команде “смирно”. Дернулся и замер стоявший у стола.

— Что у вас за шум?

В ответ — недоумевающие взгляды.

— Что тут за музыка? Признавайтесь по-хорошему и отдавайте, а не то...

Снова молчание.

— Кто тут на чем играл?

— Да не играл тут никто. — Нестройно заговорили арестованные.

— Нечего дурачками прикидываться: тут кто-то из вас на гитаре играл вроде. Где она?

Снова молчание. В глазах заключенных затаенная усмешка.

— Последний раз спрашиваю: на чем играл? Кто? (Пауза). Не скажете — сейчас вызову корпусного — и всю камеру на карцерный паек посадим. Признавайтесь.

— А если скажем, — спросил стоявший у стола, — не накажете?

— Если честно, на первый раз не накажу, только струмент заберу: не положен.

— А если забирать будет нечего?

— Но играли же?

— А если покажем — не накажете?

— Вызываю корпусного.

— Погодите! — Стоявший у стола повернулся, это был стриженный, как и все зеки под машинку, блондин лет двадцати, ширококостный крепыш небольшого роста с удивительно ясными большими голубыми глазами. Он прямо посмотрел в глаза дежурному: “Разве тут есть что запретное?”

Он подсунул под лежавшую поперек стола безобидную нитку валявшийся рядом с ней пустой спичечный

коробок; поставил его на ребро — нитка натянулась, как струна.

Крепыш достал из кармана обыкновенную алюминиевую тюремную ложку и, пользуясь ею, как плектром*, начал водить по натянутой нитке-струне, прижимая ее то в одном, то в другом месте.

И полились нежные певучие звуки.

Надзиратель разинул рот: “А ну, давай “Шумел камыш!”

— Пожалуйста!

Действительно, ничего запретного, кроме самих музыкальных звуков.

— Ладно. — Решил надзиратель. — Докладывать не буду. Но и ты тово, больше не нарушай режима. — И он ушел.

Сокамерники окружили музыканта: “Пронесло? Ты правильно сделал, Артур, что показал ему”.

— Тут еще — на кого попадешь: другой так сразу общий шмон устроит или в кандей упрячет.

— Молодец, Артур, не растерялся.

Крепыш глянул на товарищей, улыбнулся: “При другом сыграю”.

... Разные надзиратели сменялись на дежурстве. Иные вообще не обращали внимания на еле слышные потоки мелодий, так скрашивавших серые дни узников. Иные тюремщики сами с удовольствием слушали у двери и лишь при приближении своего начальства звякали ключами: “Шухер!” (опасность). А Артур Дреслер, немец-скрипач из Минска, все играл на одной ссученой из невероятных обрывков длинной нитке-струне.

* Плектр — костяная или деревянная пластинка для извлечения звука из струнного инструмента.

сам радуясь своей изобретательности. Крышка стола становилась декой, отражавшей звук, коробок спичек — регулятором натяжения “струны”, прикреплявшей петельками к краям досок стола.

У некоторых сокамерников выступали слезы, когда Артур играл особо любимые мелодии, напоминавшие о другой, навсегда потерянной жизни.

И у него она была потеряна.

Вундеркинд минской музыкальной школы, за два года прошедший курс музыкального техникума по классу скрипки, Артур был любимым учеником своего требовательного педагога, бывшего профессора Варшавской консерватории Германа Германовича Соломонова. Все сулили талантливому скрипачу большое будущее.

Оно и стало “большим”, так как годы неволи и нужды всегда тянутся особенно долго.

Источник всех несчастий Артура заключался в одном: в национальности. Немец. Обрусевший, не знавший других языков, кроме русского, белорусского и немного польского (закончил в родном Минске польскую семилетку). Юноша с первого дня войны почувствовал — что такое национальность... Отца-кормильца сразу арестовали. В сумятице срочной принудительной эвакуации на одной из станций Артур отстал от эшелона. И начались скитания. Довелось парню вместе с другими ссыльными немцами выполнять под конвоем тяжелые земляные работы, быть навалотбойщиком в сырой угольной шахте, жить в скотских условиях, умирая от голода.

Здесь нельзя не упомянуть о благородстве ссыльных. Пожилые, чувствуя, что все равно не выдержат этих

лишений и труда, старались спасти юношу. Разуверясь в возможности выжить, некоторые давали свои хлебные порции юноше. И все же у него таяли силы; начались голодные отеки ног, а врачебной помощи не было и только требовали: давай, работай!!!

Артур убежал с места поселения. Скитался с нищими беспризорными, пока один добрый железнодорожник не надоумил: ступайте в военкомат.

Артур без документов назвался Александром Сергеевичем (как Пушкин) Кудряевым и попал в стрелковый полк на Украинский фронт.

Шел сорок третий год. Тяжело раненый Артур был оставлен на поле боя после неудачной контратаки. Бесчувственного бойца взяли в плен.

Не зная немецкого языка, Дреслер и в плену остался русским. За день до окончания войны лагерь военнопленных в Австрии, где находился Артур, освободили американцы. Артура вместе с другими русскими передали советскому командованию.

Его сразу зачислили в музыкальный взвод. Но... “дело” уже завели... После демобилизации, когда Артур уже под своей настоящей фамилией работал музыкантом-затейником за Уралом в санатории, его арестовали.

Кончался сорок восьмой год. Артуру “вспомнили” его побег с места поселения и привезли в ожидании приговора в ту самую тюрьму, где музыкант заиграл на одной “струне”...

Музыка была его жизнью, и даже здесь он, мастер на все руки, умел ее создавать, для себя и для других.

Увы, “камерные концерты” Артура не могли долго оставаться незамеченными. Вскоре после очередного

“выступления” бывшего вундеркинда, будущего педагога, заведующего музыкальной частью и руководителя оркестров ряда музыкальных театров и первую скрипку оркестра Коми республиканского музыкального театра, Артура Юлиановича Дреслера, отправили в карцер.

Впервые я встретил Артура в конце января пятьдесят первого года на нарах воркутинской пересылки. Артур, получивший от Особого совещания срок 20 лет каторжных работ, в свободное время играл на аккордеоне, присланном ему матерью (к тому времени режим немного смягчили). Затем она прислала ему в лагерь скрипку, ставшую постоянной спутницей его жизни.

Сейчас Дреслер пенсионер. Я помог ему добиться реабилитации. Мы остались северянами: живем в одном городе, Сыктывкаре, часто встречаемся, дружим и нет-нет да вспоминаем с горькой улыбкой ушедшие годы нашей жизни и отдельные эпизоды, в том числе “концерты камерной музыки” с последующим карцером, отнявшим так много здоровья у талантливого скрипача, который, я уверен, мог бы стать мировой знаменитостью, если бы...

ПАРАДОКС

В ОЛПе (Отдельном лагпункте: в Воркутлаге все лагеря назывались ОЛПами) двадцать пятой шахты я познакомился с двумя чудесными ребятами. От них словно исходил какой-то свет доброты и чистоты. Удивляло, как могли такие попасть на каторгу,

да еще по политической пятьдесят восьмой статье, пункт “а” (измена Родине гражданского лица).

Оба отбывали свой срок — у каждого двадцать лет каторжных работ — уже десятый год. Когда же успели юноши стать “врагами народа”? Было ребятам во время нашей встречи по двадцать два — двадцать три года. Работали они на поверхности шахты в отделе главного механика.

Инженеры Чумаков и Тремполец, тоже каторжане, обладавшие настолько высокой квалификацией, что среди вольнонаемных им пока не нашлось замены, вовремя вступились за подростков, доставленных этапом в лагерь. Эти инженеры пользовались авторитетом: сколько премий получили за них вольнонаемные “изобретатели” и “рационализаторы” — одному Богу известно. Женя Родионов, так звали одного из ребят, и его товарищ Саша Иванов производили впечатление хорошо воспитанных детей, скромных, внимательных, вежливых, без тени угодничества, просто из добрых чувств и уважения к старшим. Ни разу никто не слышал от них “крепких выражений”, хотя кругом, как говорится, мат висел в воздухе. Все наносное, лагерное, к ним не приставало (возможно, в этом сказывалось патриархальное деревенское воспитание).

Ребята много читали. В отделе главного механика они, конечно, не так уставали, как другие, и, возвращаясь в зону с шахты, наскоро похлебав в столовой баланду, спешили в библиотеку. Надо отдать должное Воркутлагу, в отличие от каторжных зон Сиблага, где “книг вообще не полагалось”, здесь были отличные библиотеки (об их уничтожении я с болью писал несколько лет тому назад в заметке “Костры в тундре”,

помещенной еще в газете “Советская культура” (Москва).

Помимо технической литературы, которую Жене и Саше давали на шахте, они читали отечественную и зарубежную классику — все, что могло способствовать формированию хорошего вкуса и кругозора. Нередко и мне доводилось советовать любознательным паренкам ту или иную книгу, рассказывать о писателях, эпохах, отраженных в прочитанных произведениях.

Я дружил с Чумаковым и Тремполцом, и Женя и Саша стали моими хорошими товарищами.

Расспрашивать их, “за что попали”, я не решался: вдруг расплачутся. Ведь и я в первое время после осуждения, рассказывая товарищам по камере, как вынужден был на так называемом следствии оклеветать сам себя, не мог сдержать слез, хотя на фронте и в плену ни разу не плакал.

Каким образом Женя и Саша очутились в лагере, я узнал позже.

Оба они из глухой деревни. К началу войны еще только-только научились читать. Когда немцы оккупировали их места, школу закрыли, занятия прекратились, и ребята стали пастушками.

Как-то, когда они пасли коров, из леса вышли два незнакомых мужика и, отчаянно ругаясь и грозя, угнали в лес корову.

Пастушки, придя в себя от испуга, побежали в деревню и, плача, рассказали о беде. Крестьяне позвали полицаев, поспешили в лес и захватили похитителей. Вероятно, их посчитали партизанами и отконвоировали в районный центр.

Через год или полтора пришла Красная Армия. По-

садили старосту и полицая и кто-то из них, когда выспрашивали о наличии партизан в их краях, рассказал о случае с пастушками.

Сашу и Женю арестовали, им обоим шел тогда четырнадцатый год. Были они рослыми, и следовательно, то угрозами, то обещаниями убедил мальчишек сказать, что они на три года старше. После этой “приписки” тринадцатилетние стали совершеннолетними, и закрытый суд со спокойной совестью присудил их к каторжным работам.

Во время заключения оба неоднократно писали из лагеря жалобы и заявления, описывая правду о себе и своем возрасте, но на все следовал один ответ: “Основания для пересмотра дела нет. Суд судил правильно”. А решения советского суда обжалованию не подлежали: они всегда были “правильными”...

Когда после суда ребят попытались разлучить, они подняли такой рев, что конвойные махнули рукой: пусть будут вместе. Так их вдвоем доставили в Воркуту. Когда и здесь земляков попытались разлучить, то уже наученные в пути более опытными арестантами, мальчишки объявили голодовку и добились, чтобы их отправили в один лагерь.

Не только старшие товарищи по несчастью, даже охранники жалели симпатичных ясноглазых мальчишек: старались найти им работу полегче, порой подбросить кусочек хлеба, а повара наливали лишний черпак баланды.

На шахте их сперва определили в службу движения, под землю. Но затем сообразили: не по силам и перевели на поверхность. Тут их заметил Чумаков и после очередного изобретения, за которое его вольнонаем-

ный начальник получил солидное вознаграждение, замолвил слово за “сирот” и пристроил их в отделе главного механика.

Однако, тут на побегушках они были недолго. Инженеры-каторжане стали заниматься с ребятами (в лагерях, конечно, школ не было). За несколько лет, обнаружив недюжинные способности, Женя и Саша прошли полнейший курс средней школы и, кроме того, получили солидное техническое образование, подкрепленное практическими навыками.

К тому времени, когда я попал на двадцать пятую шахту, Женя и Саша уже считались отличными молодыми специалистами.

Когда наступила хрущевская оттепель и вспомнили о малолетках, тех, кого осудили до достижения совершеннолетия, Женю и Сашу в числе первых представили к досрочному освобождению. После разрешения переписки они списались со своими родителями.

Первым уезжал Женя Родионов. Он был первым освободившимся из нашего ОЛПа (до того никто из каторжников не выходил на свободу). Естественно, весь лагерь собирал деньги своим первенцам на дорогу.

Прощаясь с товарищами, Женя зашел в барак ко мне и спросил, не передать ли что кому-либо из родных (он знал, что я “столичный”, а ехал через Москву).

Я передал ему письмо подруге моей покойной матери. Одинокая старушка дорожила каждой весточкой от меня, и я по праву называл ее тетей.

Женя во время короткого пребывания в Москве взял такси, объездил всех, к кому имел поручения, у каждого побыл несколько минут, вручил письма, рассказал со нашим житье-бытье, передал устные просьбы и приветы.

-В то время это было вовсе небезопасно.

Через несколько дней освободили и Сашу.

Наработанное и выученное в лагере даром не пропало. Тогда еще разрешалась сдача экзаменов экстерном. Вскоре Женя и Саша получили дипломы о высшем образовании. Оба стали инженерами. Особенно способным оказался Женя. Через короткое время, благодаря своей одаренности, он выдвинулся и впоследствии стал главным инженером крупного комбината на Украине. Там же работал инженером и Саша. Знаю, что они женаты, имеют детей (теперь уже, вероятно, и внуков).

Много им пришлось испытать, повидать и узнать в отрочестве и юности. Горя хлебнули и они. Но... это, пожалуй, единственный случай, как шутили товарищи, вспоминая минувшее, когда каторга пошла кому-то на пользу. Ведь если бы не каторга, кто бы и где помог полуграмотным деревенским мальчишкам стать образованными людьми, хорошими специалистами?

БУКЕТ ОТ РАЙХСМИНИСТРА

(“Знак внимания”)

Мы познакомились в мае-июне 1964 года на репетиции Центральной культбригады Воркутлага, когда у Элеоноры Б... за плечами было уже около двух третей данного ей срока — пятнадцати лет каторги. Отбывала она ее в Воркуте и Сейде на тяжелых физических работах; никогда не претендовала ни на какую “блатную” должность в обслуге, на кухне, в какой-либо канцелярии. Была просто работягой. А так

как врачебные комиссии находили ее здоровой: жаловаться не привыкла, — то Леля, как ее все называли, разгружала и погружала баланы — громадные бревна, а то и гнула спину на земляных работах. Улыбчивая, с юморком, совершенно безобидная женщина чуть выше среднего роста, светловолосая, с большими голубыми с зеленоватым отливом глазами, она казалась олицетворением доброты.

Выглядела она немного старше своих сорока пяти лет. Под глазами уже появились мешочки, характерные для пожилых людей с не совсем здоровыми почками. Но разве этому следовало удивляться? Удивляться стоило тому, что, работая в стужу, в пургу, в ненастье, Элеонора каким-то чудом сохранила родниковой чистоты сильный голос изумительно приятного тембра.

После изнурительного рабочего дня, когда в женском лагунке изредка устраивали вечера силами художественной самодеятельности заключенных, Леля пела. Пела божественно. Сопрано широкого диапазона с устойчивым звучанием верхних нот и глубокими грудными низами. И все это певица брала легко, без малейшего напряжения.

Вечерами после смены по просьбе подруг она пела им в бараке разные “удивительные песни” — арии из опер, романсы.

В том лагере не было музыкальных инструментов. Леля, смеясь, вспоминала, как на репетициях, готовя немудреные популярные песни, вынуждена была постоянно “тыкать пальцем” в нужные кнопки потрепанного отечественного баяна, с которым пропускали в зону, в виде исключения, слепца аккомпаниатора, самоучкой осваивавшего инструмент.

Лелю содержали не в режимном лагере (“Речлагге”), а в Воркутлагге, и первое же прослушивание для отбора весной пятьдесят четвертого года в состав Центральной культбригады определило судьбу артистки на ближайшее время: ее взяли в концертную группу солисткой. Здесь она оказалась старше всех женщин. Леля держалась в стороне от всяких “закулисных интриг”, сплетен, флиртов, никогда не вмешивалась в какие-либо организационные вопросы. Не помню, чтоб она когда-нибудь “боролась” за место в концертной программе: перед кем или после кого ей выступать. Певица академического плана, она держалась на сцене просто и с достоинством. Не жестикулировала. Ее главным и единственным оружием был голос. Четкая фразировка, прекрасная дикция подчеркивали культуру исполнения.

Как ни пытались сторонники “эстрадной выразительности” заставить Элеонору выступать “по-современному”, она этому не поддавалась; пыталась — и со смехом отступала: не выходит.

Да и зачем? Голос делал все. Когда Леля пела, она была торжественно прекрасна. Исчезала вызванная непосильным трудом сутуловатость, молодо блестели глаза. Легкий слой грима скрывал морщины и певица выглядела солнечно молодой.

В жизни она отличалась парадоксальной наивностью и непрактичностью и даже не пыталась “эксплуатировать” своего сверстника, симпатичного латыша из оркестра, упорно смотревшего на нее влюбленными глазами.

Леля не рассказывала о себе, о том, почему оказалась в заключении. Помимо родного литовского, она

с легким иностранным акцентом говорила по-русски, владела немецким, знала итальянский (с консерватории), чуточку французский. Кругозор ее ограничивался музыкой, вокалом, хотя в беседах иногда проскальзывало знание литературы, в частности античной.

Мы все с почтительностью и легкой иронией наблюдали за Элеонорой. Ее рассеянность и забывчивость порой умиляли. Так однажды, волнуясь перед выступлением, она второпях чуть не появилась на сцене в длинной ночной рубашке с кружевами, очень походившей на концертное платье. Виной, очевидно, была близорукость. К счастью, Лелю остановили в кулисах, благо выяснилось, что сейчас вовсе не ее выход, а рубашка нужна находившейся в одной уборной с певицей драматической актрисе, занятой в скетче.

Человека более далекого от политики, чем Леля, вероятно, не встречалось. Тем не менее, у нее была страшная статья, соответствовавшая по тогдашнему литовскому уголовному кодексу нашей печально знаменитой пятьдесят восьмой — измена Родине.

В 1955 году, когда начали освобождать каторжан, отбывших две трети срока, выпустили на волю и Элеонору. Она не сразу уехала: вышла замуж за пожилого прибалтийца — мастера столярного дела на двадцать седьмой шахте. Что их связывало? Говорили, что они познакомились и сблизились еще когда только прибыли в Воркуту и режим был не таким строгим, так что, по крайней мере, на работе женщинам и мужчинам удавалось встречаться. Тогда, в самое трудное первое время, сразу устроившись по специальности, столяр очень помог голодавшей Элеоноре, и она навсегда сохранила благодарную любовь к своему земляку.

Но затем, я слышал, что их поздний брак, хотя и не распался, но не стал счастливым. Они уехали. Муж ревновал, не допускал даже мысли о сцене и усталая, мягкая безответная Элеонора больше не выступала.

А ведь могла бы. Голос еще звучал — и как! Такой голос!

Не только тысячи зрителей в лагерях, но и залы, переполненные по праздничным вечерам вольнонаемными, начальством и их женами, после выступлений Элеоноры, забыв о строгих инструкциях, благодарили певицу долгими дружными аплодисментами.

Правда, в давно ушедшие времена и не такие “тузы” и не только на севере высоко ценили талант артистки. Как-то, говорили, присутствовавший на ее концерте министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп в восторге презентовал певице роскошный букет цветов. Этот-то явный знак внимания гитлеровского райхсминистра послужил основанием для “приглашения” Лели в Воркуту...

В немецком плену

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФЮРЕРА

(Отрывок из невыдуманного романа “Дитя смерти”)

Некотрые ефрейторы и солдаты постоянно придирались к пленным, искали повод толкнуть беззащитных, ударить прикладом, обругать, унижить. Среди таких мелких гадов больше всех отличался один жандармский обер-ефрейтор, отчаянный патриот рай-

ха и поклонник фюрера. Когда он дежурил в зоне, повсюду разносилась его ругань, крики о “низшей расе”, “скотах”, “людоедах”, “свинособаках” (“швайнехунде”. Нем.) и т. п.

Но где-то все-таки есть Бог. Вспоминаю такой эпизод. Из лазарета нас привезли в этот лагерь в конце февраля-начале марта. Было еще очень холодно. В апреле же начало крепко подтаивать.

Шагах в двадцати от барака (весь лагерь тогда размещался в одном бараке), напротив его среднего входа, зимой стояла, покрытая со всех сторон желтым льдом, уборная. Ночью, естественно, до нее добирались только при крайней нужде, предпочитая, что надо, делать поближе к бараку.

Когда стало припекать солнце, штабс-фельдфебель Кольц приказал снести уборную и выкопать яму для новой с другой стороны барака. На месте старой осталась огромная квадратная яма метра четыре шириной, заполненная зловонной жижей.

В торжественный день двадцатого апреля — день рождения фюрера — жандармы напились с утра. Кольц и обер-фельдфебель Никиш, пересчитывая пленных, которых после недавнего этапа оставалось вместе с ранеными всего около ста человек, без конца ошибались; в конце концов махнули рукой и ушли к себе за зону.

Через зону к входным воротам прошагал часовой, стоявший у калитки со стороны кладбища. На смену ему от входа в лагерь с красными от ярости глазами, держа карабин наперевес, шел, выкрикивая “хайль Гитлер!”, крепко выпивший обер-ефрейтор.

Взгляд его дико шарил по сторонам. Он выискивал

жертву. Почти поравнявшись с баракom, он заметил пленного, взмахнул карабином и устремился на беднягу. Тот увернулся от удара и юркнул в барак, а обер-ефрейтор, успевший гаркнуть в который раз “хайль Гитлер!”, в этот момент очутился возле ямы с нечистотами, поскользнулся и бухнулся в нее. Правда, карабин он из рук не выпустил; оружие осталось на краю ямы. Но сам патриот погрузился по шею в невообразимую дрянь.

Напрасно он пытался выбраться. Руки соскальзывают с ледяных краев ямы. Фриц заорал.

Сперва выглянул наш брат, пленные, и, стоя в почтительном отдалении, стали обсуждать: захлебнется или не захлебнется, выберется или утонет в говне?

Зрелище было на редкость впечатляющее, особенно для нас, хорошо знакомых с характером этого мелко-го гада. А он вращал глазами, ругался, плевался, плакал, хмыкал и хныкал, стонал и вопил; безуспешно пытался выкарабкаться и снова и снова плюхался в говно.

Трудно сказать, сколько это продолжалось. Крики “утопающего” становились все слабее. Никто на помощь не шел: соратники праздновали.

Наконец появился унтер-офицер Шталь. Это был крепко скроенный краснощекий жизнерадостный крепстьянин. В его глазах всегда бегали веселые озорные искорки. Как и толстяк Кольц, Шталь не пытался издеваться над пленными. Он говорил: “Динст ист динст” (“Служба есть служба”), а всякое остальное ей не предписано.

При виде своего подчиненного Шталь выпучил глаза, схватился за бока и несколько минут хохотал. По-

том унтер-офицер оглянулся, подошел к пленным и приказал вытащить обер-ефрейтора.

Но мы не могли. Я объяснил, что подойти к обледе-
нелой яме практически невозможно. Демонстрируя эту
невозможность, мы приближались к яме и стремитель-
но скользили прочь в своих ботинках.

Тогда Шталь придумал: “Алекс! — приказал он мне,
— сходи в тот сарай к обозникам, скажи, что я тебя
послал, и попроси у них веревку.”

— Яволь (Так точно)! - ответил я и отправился ис-
полнять приказание.

В одном из полуразрушенных барачков, наскоро по-
чинив одну его половину, недавно поселились обозни-
ки. Видимо, им некуда было деваться, и они получили
разрешение, выставляя своих часовых, жить внутри ла-
герья военнопленных. Каждый день, почистив сбрую и
подбелив толстые веревки, шли они за зону, где при-
строили их лошадей. Этим обозников мы всегда виде-
ли в серых рабочих спецовках, всегда занятых. Они на
нас не обращали внимания.

— Хальт! (Стой!) — Во гейст ду хин? (Куда идешь?)
— остановил меня у входа в полубарак часовой.

— Меня послал господин унтер-офицер Шталь, что-
бы я попросил у вас веревку, чтобы вытащить упавше-
го в говно пьяного обер-ефрейтора полевой жандар-
мерии.

— Что-о?? — Удивился часовой. — А ну-ка зайди и
повтори моим “камраден” (товарищам) свое поруче-
ние.

Я зашел внутрь. Как и везде, немцы устроились по-
хозяйски. Они сидели на аккуратно сколоченных, по-
крытых одеялами нарах вокруг самодельного стола.

Одни чинили упряжь, другие штопали или зашивали одежду, а двое играли в шахматы.

Я повторил приказание Штала.

— Да какое имеет он право нами командовать, жандарм вонючий, — возмутился, не стесняясь моим присутствием, один из шахматистов. — Мы не из его части и ему не подчинены. И с какой стати мы будем пачкать свои красивые веревки (“унзере шенен зайле”) в говне, чтобы вытаскивать пьяного жандарма?! Пусть ищут в другом месте.

— Что ты так смотришь? — Повернулся он ко мне, заметив, что я уставился на шахматную доску.

— Здесь мат в три хода. — Сказал я.

— Ты играешь в шахматы? Впрочем, все русские хорошо играют — “альокин, богольюбоф” (Алехин, Боголюбов)...

— Да, чемпион мира и Германии — оба русские.

— А как тут мат в три хода?

Я показал.

Вероятно, спрашивавший меня был здесь старшим, возможно, унтер-офицером. Так как он сидел за столом без кителя, я не мог определить его звание.

— Давай, — предложил он, — сыграем одну.

К счастью, он думал недолго, иначе бы меня раньше хватились. Минуты через четыре он проиграл.

— Н-да-а, ты крепок. — Подтвердил он. И, как обычно, начались расспросы — кто я по профессии и так далее, и скоро ли кончится, честно говоря, эта бойня? Он и его товарищи, чувствовалось, были тружениками, но не отличались ура-патриотизмом.

— В этом году не кончится, — спокойно ответил я.

— Почему? Мы же так далеко зашли!

— Именно поэтому она так скоро не кончится.

— Ты что себе позволяешь? — Разинул он рот.

— Вы сами предложили мне ответить по-честному (это было весной 1942 года).

Вытянув сомкнутые губы, он вздохнул и огляделся.

— Ду бист абер вицих (ты, однако, остроумен)... —

Процедил он.

— Алекс! — раздалось у входа. Кричал Шталь.

Я вышел и сообщил о неудаче своей дипломатической миссии.

Когда Шталь вошел в барак, все встали, но также ответили ему отказом. Шталь выругался, но согласился, что марасть зазря веревки из-за солдата чужой части обозники не обязаны.

— А вытаскивать надо. Смех смехом. Но если он утонет, нагорит всем. — Резюмировал Шталь. — Надо принести доски!

Двое пленных пошли к лежащим у забора загаженным доскам от разломанной уборной. Взяли две подлиннее, отнесли к яме, протянули утопающему, и он выбрался.

Поднявшись из говна, этот остолоп у края ямы еще попытался приложить коричневую от нечистот руку к пилотке, отдавая честь унтеру: дисциплина и субординация!...

Шталь брезгливо отмахнулся: “Убирайтесь вон! Скажите, чтоб вам прислали замену”.

Обер-ефрейтор несколько дней не показывался, а когда появился, не только немцы, но и мы при виде его морщили носы.

“А ЕСЛИ Б Я НЕ ГОВОРИЛ ТАК ХОРОШО ПО-НЕМЕЦКИ...”

(Из невыдуманного романа “Дитя смерти”)

Нас разделили на несколько групп; каждой отвели участок шоссе. Конвоиры указали на воронки и на лежавшие по краям дороги кучи гравия: засыпать, разравнивать. У обочины лежали лопаты.

Проезжающие машины обдавали нас грязью и вылетающими из-под колес камушками.

Вскоре появились наши утренние конвоиры с унтером. Рядом с ним шагал еще один унтер, очень толстый.

“Типичный немец”, — подумал я. Его полнота меня успокаивала: помню из “Юлия Цезаря” Шекспира: “Опасны худые люди”. Хотя эта реплика Цезаря не аксиома, но толстяк действительно производил впечатление добродушного человека.

Он отзывает меня в сторону, дает сигарету, засыпает обычными вопросами. Охает: “Дер криг ист шайсе” (“Война — говно”), — и кивает, — “продолжай работу”.

Я берусь за лопату, предварительно поделившись сигаретой с соседом. Вдруг!...

Очнулся я на обочине. Надо мной склонились товарищи и немец-конвоир. Толстый унтер рядом отчаянно ругался.

Из кабины огромного “элькавэ” (грузовика) вылез немец-шофер. В ответ на ругань унтера он отрезал: “Вас ист лёс?” (В чем дело?) “Хаб дир айнен руссэн умгекитт...” (Опрокинул тебе одного русского), — и выругался.

Унтер в долгу не остался, но добавил: "Абер дер керль шприхт перфект дойч" (Но парень превосходно говорит по-немецки).

Унтера будто подменили. Он подошел ко мне, наклонился: "Ду шприхст дойч?" (Ты говоришь по-немецки?) Я кивнул головой.

— Ах ду армер хунд (ах ты бедный пес), — неожиданно мягко выдохнул шофер. — Тут (болит)?

— Айн вэниг (немного).

Два-три вопроса и ответа — и водитель развел руками: "Шадэ, шадэ" (Жаль, жаль). — Шофер покачал головой и почесал затылок, что-то соображая. — "Зо айн шайс - криг (Такая говно — война). Их хаб дох гар ниht гедает да ду зе файн дойч шприхст (Я же вовсе не думал, что ты так хорошо говоришь по-немецки). Их фарэ: да штэен ди руссен. А! Вэр вайс вас фюр лёйте?.. (Я еду. Вижу: стоят русские. А! Кто знает - что за люди?). Варт маль! (Погоди!)." — Он метнулся к кабине и через несколько секунд вернулся со свертком с бутербродами и начатой пачкой сигарет: "Ним (Возьми)! Дер криг ист шайсе (Война — говно). Хаб дох гар ниht гевуст да ду зо файн дойч шприхст" (Я же вовсе не знал, что ты так хорошо говоришь по-немецки).

— Унд хэт их ниht зо файн дойч гешпрохен да конте ман мих умкиппен? (А если б я не говорил так хорошо по-немецки, значит, можно меня опрокинуть, переехать?). — Слабо улыбнулся я.

— Зай дохт ниht безе. — Ухмыльнулся примирительно водитель. — Эс гейт алес форбай! Дер криг ист шайсе. Альзо! (Не сердись. Все проходит. Война — говно. Итак!) — И уехал.

Из-за контузии я был глуховат на левое ухо и потому не расслышал предостерегающего окрика конвоира. Другие успели метнуться в сторону, а меня, вернее, мою шинель, грузовик задел крылом. Я отделался ушибами колена и головы.

Толстый унтер тоже угостил меня сигаретами. Всю добычу мы разделили по-братски. Особенно вкусными оказались два маленьких бутерброда. Каждый откусил по кусочку. Хлеба нам вовсе не давали. А тут, хоть немецкий, но все же хлеб.

С ПЕСНЕЙ — НА КАТОРГУ!

Сейчас ему семьдесят. Но не только по жизнерадостной натуре, доброй и отзывчивой, но и по внешности он почти не изменился. Разве что морщинки над будто немного удивленными веселыми глазами да седина. Я с ним примерно одного роста — метр семьдесят три - семьдесят пять, но он, благодаря своей природной худобе, кажется куда длиннее, выше меня. Он тощ, как жердь, и руки у него худые, одни жилы. Но сколько в нем силы!

Ваня — мастер на все руки. Зайдите к нему в квартиру: вся мебель - от книжного шкафа до серванта, столы, стулья, кровати сделаны его руками красиво, со вкусом. За что бы Ваня К. ни взялся, сделает хорошо, на совесть, основательно. Вот уже почти полвека, как мы дружим.

На двадцать пятой он работал шахтером-посадчиком в бригаде Шаповалова, опытного, сравнительно пожилого — лет под сорок — рослого широкоплечего

горняка. Рядом с ним Ваня К. выглядел тощим ребенком. Но это только на первый взгляд. Хотя в бригаде Ваня был всех моложе, но работал не меньше, не хуже, а то и лучше других.

Напомню, что труд посадчика один из самых опасных. Представьте: выбрали из лавы (подземной выработки) весь уголь и теперь надо ее “посадить”, чтобы миллиарды висящих над ней тонн смерзшейся, как камень, породы вновь опустились, осели на свое место, заполнили все пространство выработанной лавы, своеобразной гигантской пещеры в недрах земли, пещеры с обычно очень крутым наклоном, шириной и длиной в сотни или несколько десятков метров, вышиной от полутора до двух с небольшим метров (по толщине пласта выбранного угля). Все пространство лавы густо уставлено крепежными стойками, деревянными, вертикально поставленными бревнами, призванными временно, пока выбирают уголь, поддерживать “кровлю”, свод. Не дай Бог, лава “заиграет”, — бревна-стойки под невообразимой тяжестью сломаются, как спички. Не знаю, как теперь, но тогда по правилам техническим всякую выработанную лаву обязательно полагалось “сажать”, вырубать весь лес стоек. Все это по разным точным инженерным расчетам сбалансировывало в шахте давление пород и другие неблагоприятные и неизбежные факторы, сопутствующие добыче угля.

Когда лава выработана, вызывают посадчиков и они, идя с одного конца лавы, длинными топорами равномерно выбивают стойки и “кровля”, свод, “садится”, заполняя всю лаву. Нередко приходится выбивать стойки в лаве, которая уже начинает “играть”, то есть готова и сама “сесть”. То в одном, то в другом конце

зловеще трещат стойки и с “кровли” рушатся много-тонные куски породы. А посадчики все рубят и рубят толстые стойки, уворачиваясь от падающих глыб, отходя к выходу из лавы. Глухо отдаются глубоко под землей звуки ударов топора. Опаснейшая работа. Фронт. Далеко не всякий здоровый горняк может стать посадчиком. Последнему, кроме силы, нужны ловкость, смекалка, способность стремительно сориентироваться в критической ситуации, чтобы не погубить себя и товарища. Это труд, нередко связанный с жертвами...

Ваня К. был всегда весел, дружелюбен, обожал концерты нашей самодеятельности и не уставал искренне и наивно удивляться всякому искусству.

— А я тебя не узнал. — Говорил он после спектакля. — Мало что бороду и усы наклеил, а и сам совсем другой стал. Ловко! А как здорово играет Артур (Дреслер) на скрипке! Будто говорит и поет она у него в руках. Дал он ее мне подержать. Я попробовал провести смычком — и ничего, никакого звука, никакой музыки. А у него!...

Голос у Вани был высокий, тонкий и такой звонкий, что прозвали его “Бубенчиком”. Он, конечно, не обижался. Когда, бывало, волновался или возмущался, голос становился у него еще звонче и выше.

За что же “Бубенчик” получил двадцать лет каторжных работ?

Относился он к тем немногим, которые не были ни в плену, ни на оккупированной территории. В сорок четвертом году его определили в танковые войска, стал он водителем знаменитой “тридцатьчетверки”, танка “Т-34”, наводившего страх на гитлеровцев. Ваня уча-

ствовал в боях, имел награды. И вот закончилась война. Радость - без конца! Отметили победу и танкисты.

Вскоре часть, в которой служил Ваня, отправили в тыл, на Родину.

С песнями ехали молодые солдаты в танке. Не беда, что грохот стоит внутри машины, что друг друга не слышать, а душа поет и рот открыт в пении.

“Т-34” — огромная тяжеленная махина, — грохоча, с бешеной скоростью мчался по шоссе (“И какой же русский не любит быстрой езды?”).

Ваня, грешным делом подвыпивший, как и его товарищи, тоже пел или, точнее, орал во всю глотку (Все равно, грохот заглушал).

На шоссе часто попадались плохо засыпанные воронки от снарядов и танк то и дело встряхивало. Но впереди — ни души, открытая дорога, и “Бубенчик” жал вовсю, изредка мельком оглядываясь на распевавших сзади него приятелей.

Так они приехали в деревню, где дислоцировалась часть, а через час или два... Ваню арестовали.

Оказывается, на одном из поворотов он, горланя песни, не заметил, как с боковой проселочной дороги выскочила на шоссе дряхлая “полупторка”, грузовичок... Танк даже не вздрогнул, снеся всю переднюю часть грузовичка вместе с кабиной. А в ней сидели глухой старик-шофер (и таких за руль в те времена сажали) и районный прокурор, неотъемлемый представитель советской власти. Оба, не пикнув, скончались. А “Бубенчика”, нарушившего то-то, и то-то, и то-то, и “пытавшегося скрыться от правосудия”(?.), присудили к двадцати годам каторжных работ по какому-то пункту

страшной пятьдесят восьмой статьи, ибо по другим статьям советских прокуроров не давили...

АВТОРСКИЙ “ГОНОРАР”

Каторжник не имел никаких прав, как, впрочем, любой заключенный. Бесправие во многом объясняло низкую производительность труда заключенных, особенно до введения хозрасчета и зачетов отработанных дней — один день за три, проведенных в заключении — для горняков, а для других рабочих от двух до трех, для лагерной обслуги — полдня. Таким образом стали появляться шансы отбыть вместо двадцати всего лишь двенадцать или тринадцать лет, а для осужденных к пятнадцати годам каторги — десять-одиннадцать. Разница существенная.

Среди пятьдесят восьмой статьи были замечательные инженеры, ученые люди разных профессий — отличные специалисты, умные, инициативные, хорошие организаторы. Увы, их таланты пропадали даром, ибо эти люди вынуждены были отдавать их вольнонаемным, начальству за ничтожное, анекдотическое вознаграждение, от пайки хлеба до бутылки водки. Фамилии заключенных не могли появляться в нелагерной прессе. Изобретатели зачастую свои изобретения или рационализаторские предложения отдавали вольнонаемному, получавшему за это славу, премии, награды. Не секрет, что некоторые Сталинские премии, выданные руководству “Воркутстроя” и комбината “Воркутауголь”, были заслужены безымянными заключенными, разработывавшими проекты новых шахт. Что гово-

рить? Первый в коми литературе роман “Огни тундры” повествовал о трудовом энтузиазме строителей Воркуты... — коммунистов и комсомольцев... К этому прибавить нечего. В стране писали на эту тему и более популярные и не менее лживые романы, очень похожие на знаменитый “Далеко от Москвы” и тому подобные.

Хочу рассказать об одном из моих приятелей, каторжнике, получившем срок за случайное убийство; будем называть этого инженера Вениамин Ч. (имя настоящее, а фамилию без его согласия разглашать не буду). Был он офицером и после Победы во время праздничной пьянки поругался с одним штабным товарищем. Оба схватились за пистолеты. Вениамин — настоящий русский богатырь — выбил у противника из рук оружие и, не помня себя в запале драки, выстрелил. Ну, конечно, в контрразведке понаприписывали еще всякое и, в результате, — расстрел, замененный, как и мне, двадцатью годами каторжных работ с последующим поражением в правах на пять лет.

Вениамин был отличным специалистом и работал в отделе главного механика. Не раз рационализаторские предложения Ч. приносили славу, почести и большие деньги его начальству. Оно, в меру своих понятий и совести, очень хорошо относилось к Вениамину. Как-то он сделал одно изобретение, экономившее производству несколько миллионов рублей ежегодно. Изобретение было внедрено. Начальство получило премию и решило как-то наградить Вениамина. А тут как раз подоспел день его рождения.

На шахте, в отделе главного механика, устроили маленький банкетик. Много добрых слов сказали, в час-

тности, в адрес Вениамина, “участвовавшего” в изобретении...

В самом хорошем настроении Ч. в общем строю возвращался в лагерь с шахты.

При входе в лагерь, как всех, его обыскали и, о ужас, во внутреннем кармане бушлата обнаружили (и искать не пришлось) бутылку хорошего вина. Вениамин даже не пытался ее спрятать, полный радостных впечатлений от дня рождения.

— Где взял? Кто дал?

— В снегу нашел. — Сразу же нашелся Вениамин.

— Знаем мы этот снег...

Конечно, никакому оперуполномоченному, ни начальнику режима Ч. не стал говорить иначе и только твердил: “Хотите верьте, хотите нет, а нашел”.

“Находку”, конечно, отобрали. А Вениамин в качестве гонорара за изобретение получил десять суток штрафного изолятора и напрасно его начальство пыталось выволить изобретателя оттуда, как незаменимого.

А ведь все хотели по-хорошему, как лучше, но авторский гонорар в тех условиях тоже выходил боком... Затем освободишься — не восстановишь своих прав. Они не простые — авторские. Освободят — тогда изобретай.

СВИДАНИЕ НАГИШОМ

(из книги “Клейменные” или “Один среди одиноких”)

Баня в Александровском центре.

В моечной каждый использует свой тюремный ку-

сочек мыла величиной с половину спичечного коробка по-своему. Кто моет себя, кто — принесенный с собой платочек, тряпицу на все случаи жизни, заодно заменяющую и терку и полотенце, а кто уносит кусочек с собой в камеру: пригодится там для мастырки или еще чего.

Из моечной мы выходим в помещение, где нас должно ждать горячее после дезинфекционной прожарки белья и одежда (белья к тому времени у многих, в том числе у меня, уже не было. Штаны надевали прямо на голое тело). Случалось, что прожарка не успевала и мы мерзли голые, дожидаясь выдачи одежды.

Когда нас выгоняли из моечной, дверь за нами запирали, а в моечную загоняли обитателей другой камеры.

Как-то мы вышли из моечной, одежда еще не была прожарена, и голые стали топтаться, переминаясь с ноги на ногу, на холодном цементном полу.

Вдруг один, подошедший к двери, слегка потянул за ручку и громко шепнул: “Хлопцы, а ведь там... бабы”. И так как дверь оказалась незапертой (упущение надзирателя), мы оказались друг против друга, открыв дверь, — голые мужчины и голые женщины. О стыде как-то не подумалось, время было голодное, и мы столпились с одной, а они — с другой стороны двери.

В основном это были молодые стройные женщины, как и мы, очень белокожие и бледнолицые от того, что не бывали на свежем воздухе, на солнце.

— Здравствуйте, девушки!

— Здравствуйте, хлопцы! Какие вы все тощие?!

— Вы откуда? — Задал один вопрос.

— А из какой камеры?

Назвали номер.

— А мы из сорок шестой.

Сзади напирали любопытные: “Спроси, сколько грамм хлеба им дают?”

— Четыреста пятьдесят.

— И нам тоже (глубокий вздох).

— Девочки, а в то воскресенье вам утром кусочек рыбы давали?

— Давали.

— А нам — нет.

— Девочки, а вам кашку раз в неделю дают, как на слабосилке?

— Иногда дают. А вам?

— Нам — нет.

— Спроси, спроси, — напирает сзади на впереди стоящих молодой парень, — спроси: баланда у них густая вчера была али нет?

Отвечают, и в том же духе все вопросы. Против нас стоят молодые женщины (к дверям подошла только одна старуха, остальные молодые), мы стоим в одном шаге от них и хоть бы у кого что-нибудь. Всё еда да еда.

Продолжалась эта беседа минут пять. Прибежавший надзиратель поспешно закрыл дверь. Вскоре выдали и одежду из прожарки. Но эта трагикомическая сцена запомнилась. Не знаю, как у женщин, а у истощенных голодом мужчин никакой тяги к женщинам не наблюдалось. Говорили, что женщины легче переносят голод, что им дежурные надзиратели чаще дают добавку баланды, да и баланду выбирают погуще. Не знаю.

Запомнилась высокая стройная молодая светлорылая женщина, очень хорошо сложенная (а может

быть, просто все кости были наружу?..) Она стояла первой у двери напротив нас. Грустно оглядывала нас и отвечала на вопросы. Никто, ни она, ни мы не стеснялись своей наготы, просто не замечали ее.

Некоторым снятся женщины. Мне тоже снятся мои знакомые девушки и женщины из деревни Вохоново, где я был в плену и откуда убежал к своим. Снятся мне и довоенные знакомые девочки и женщины. Но они не снятся голыми, и вместе с ними, немцами и старыми довоенными друзьями властно в каждый сон вторгается... хлеб... хлебные пайки, баланда..., горбушки, “копыта”, “тумбы”... *

Постоянно сразу после возвращения из бани начинают шмоны. Подозревают, что из бани мы всегда что-нибудь прихватываем запретное. Шмонают весь коридор, камеру за камерой по очереди. Мы это знаем и, кто как может, торопимся спрятать свои драгоценности — самодельные весы для проверки веса хлебной пайки, иголки, ножички, стеклышки. Прячем быстро, так как знаем: шмон могут начать с нас и тогда не успеешь приготовиться.

Конечно, такой очередной шмон ждал нас и после этого прихода из бани. Но мне как-то уже не думалось о нем. Перед глазами стояли стройные, молодые красивые женщины, на которых я смотрел просто как на

* Горбушка — кусок хлеба, отрезанный от непечатого края, он, как правило, лучше пропечен, в нем больше корки и такой кусок сытнее, что так важно для голодных заключенных. “Копыто” — кусок хлеба, отрезанный в буханке между двумя горбушками, его объем меньше. “Тумба” — кусок, отрезанный посередине буханки, имеющий корку лишь наверху и внизу, самая несытная часть. “Тумба” и “копыто” — тюремные названия.

иллюстрации к какой-то книге не волнующего содержания.

А разве это не было преступлением против природы? Большинству товарищей по несчастью, как и мне, шел тогда двадцать пятый год жизни. А нам хотелось только хлеба...

ШМОН В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ЦЕНТРАЛЕ

— Живо с нар! —

и в коридор!

Вон!

Все из камеры с вещами —

Вон! —

Корпусной исходит матом,

Тьма дежурных,

Все в халатах

(Здоровенные ребята).

— Шмон!!!

Как успеть иголку спрятать?

Шмон, шмон, шмон!..

— Вон!

— Скорей!

— Живей!

— Быстрей!..

— За копейку, за стекляшку,

Черепок,

За измятую бумажку,

Гвоздик, грифеля кусок —

В кандей!!!

Коль найдут,
Упекут,
Не жди пощады,
Изведут,
Угробят гады.
ШМОН!!!...
Все тряпчушки, все лохмотья
Перещупывают.
Ты, нагой и босой.
— Стой!
— Холодно? Замерз? Дрожишь?
Рот открой!
— Язык покажи!
— Ягодицы раздвигай!
— Ну-ка!..
— Даже стены корпусной
Сам обстукал:
— Где что спрятал, отдавай,
Сука!
И везде, со всех сторон —
Шмон, шмон, шмон...
Ищут в нарах, ищут в рамах,
В щелях пола, в узких самых,
И в параше, в вязком дне —
В говне.
— Поворачивай, пацан, скелет!
— Пальцы, пальцы растопырь, дед!
Изорвали башмаки:
 под подошвой
Ищут, окаянные;
В уголке нашли
 от миски черепки,

Изломали

ложки деревянные.

Эк, досада: некого сажать...

В камеру загнали всех опять,

Обругал всех корпусной челдон,

Двери вновь закрыли на запор.

Слышь,

соседей выгоняют в коридор:

Там —

шмон.

Говорят: в наш Александровский централ

Чернышевский некогда попал.

Жаль, что в вещих снах “Что делать?” он

В светлом будущем не видел этот шмон...

БОЛЬШОЙ ДЕНЬ

(Из книги “Клейменные” или “Один среди одиноких”)

Это было двадцатого сентября сорок пятого или сорок шестого года. Я чувствовал себя плохо, а наступал мой черед дежурить по камере. Друг мой Федя, однорукий (левая, перебитая осколками, рука у него висела, как плеть), заменить меня, понятно, не мог. У Жорика Шенберга просить о замене было просто неудобно: куда ему, хромоту? Он и за себя-то старается всегда выставить другого. Сделает ему весы или еще что — и тот соглашается. Время было неважное: уже несколько дней коридорные надзиратели не давали дежурным добавок или давали мизер: одну “парашу” на четверых. Замечу, что “парашами” называли не

только бочки для испражнений, но также большие глиняные миски для баланды. Делали их, вероятно, в гончарной в самой тюрьме. Там же, знаю, была пимокатная мастерская, где валяли валенки, работали там не каторжники, а зеки.

В миску-”парашу” влезали полторы порции баланды, а в обычную миску - едва одна. Обычные миски надзиратели часто недоливали, чтобы не обжигать пальцы при раздаче, а в “парашу” всегда попадала уж во всяком случае полная порция, черпак. Дежурные по камере для добавки всегда приготавливали “парашу”. Если это случалось после шмона, то пока шла раздача, быстро сливали пару порций в две-три миски (потом разделят), чтобы освободить две-три “параши”: авось надзиратель даст добавку. На шмоне, конечно, все найденные в камере миски забирали. Если же в камере имелись свои свободные “параши”, дежурные, получив свои порции для камеры, протягивали через кормушку надзирателю “парашу”, а то и две с просьбой “налить маленько”, что тот и делал. Но далеко не всегда.

Еще с вечера я начал хлопотать о замене меня на завтрашнее дежурство. Но все, к кому обращался, даже те, что любили дежурить в надежде на добавки, безнадежно разводили руками: “Добавок не дают. Чего ж я буду пол драить? Давай полпайки — подежурю, так и быть”.

Но отдавать полпайки хлеба, единственного реального продукта питания, не хотелось. Так и не добившись замены, я, “артист”, ублажавший всю камеру рассказыванием романов и чтением поэм, несмотря на отвратное самочувствие, с утра приступил к дежурству.

Вынес с другими дежурными тяжелые параша, вымыл пол. А это была непростая операция: вдруг нагрянет Чалый, начальник режима, свирепейший из начальства?.. Вымыл большой стол для приема хлеба. При получении его стол ставили вплотную к кормушке, чтобы, не дай Бог, крошка не упала, и на нем выкладывали хлеб; его строго по числу находившихся в камере выдавал через кормушку надзиратель из коридора.

Хлеб получать мне не доверили. Дело в том, что получавшему надзиратель иногда мог дать соблазнительную горбушку вместо “копыта” или, упаси Боже, “тумбы”, а потом еще бывало, если ящик с хлебом кончался, надзиратель вытряхивал горсть крошек дежурному получателю: “На!” Короче, на утренних священнодействиях я играл весьма подчиненную роль, а при мойке пола меня сплошь и рядом подгоняли, то торопили, то требовали более тщательно мыть, то еще что.

Дежуривший в тот день надзиратель был угрюмым типом, смотревшим на нас весьма недружелюбно, чтоб не сказать враждебно.

Утром он ничего не добавил дежурным. В обед тоже. Дежурные злились.

— Вечером будешь ты получать, — заявили они мне, — один хрен, не дает ничего. Может, ты что выклянчишь. Ты же еврей. Попробуй.

Решили: получать баланду на ужин должен я, забыли о своем гоноре. Вот ведь парадокс. Пока все как-то сносно, еврею — кукиш. А как тревога — пусть еврей попробует...

Дежурили со мной неважные мужички. Кое-кто из них даже поддразнивал меня, произнося русские слова

с грубо подчеркнутым еврейским акцентом. На это я обычно реагировал, говоря: “Что ты меня дразнишь? Дай Бог, чтобы твои внуки и правнуки научились хоть наполовину так плакать по-русски, как этот жид”. То есть я. Не скажу, чтобы такие ответы успокаивали, но в них была правда. А говорили кругом по-русски неважно: добрую половину населения камеры составляли белорусы и украинцы.

Итак, на получение вечерней баланды я стал у кормушки.

— Я буду считать. — Предупредил я. — Почестному.

— Сам буду считать. — Отрезал надзиратель. — Тебе нечего.

— Нет, что вы? — Возразил я. — Так же будет лучше. Вдвоем.

Он не ответил, размешал суп-баланду и начал подавать в кормушку. Я принимал миски и говорил каждый раз, считая “одна, вторая... Спасибо. Видите, я считаю честно”.

— Пятая. — Считал я, передавая миску стоявшему сзади меня дежурному. — Шестая...

— Пятая. — Повторял я на шестой. — Та-ак, шестая...

К одиннадцатой миске мне уже удалось его сбить со счета и закосить две миски. Дальше все пошло еще лучше. Наконец, он катастрофически сбился...

Уже вся камера — около ста человек — получила баланду, уже меня сзади осторожно подергивали за штаны: хватит, мол. А миски все шли и шли в кормушку уже без счета. В довершение всего, надзиратель налил дежурным добавку - четыре “параши”. А двадцать

две миски я закосил! Всего же мы получили лишних двадцать шесть мисок! Полагаю, это был рекорд на всю тюрьму.

“Закошенные” миски дежурные быстро относили в разные концы и ставили на нары. После того, как закрылась кормушка, началась дележка.

Каждому дежурному досталось по шесть мисок и две “параши”. Делили на четверых. Естественно, съесть сразу несколько литров баланды никто бы не смог. Дежурные стали делиться со своими друзьями. Я первую же миску отдал Феде Фесенко, вторую Жорику, третью Опанасу Бодянко, четвертую дал разделить между Егором Ильичем Жуком, колхозником из-под Харькова, и таджиком Манеби Курбаном. Себе оставил две “параши”.

Вся камера ликовала. Такого еще никогда не было.

Оказавшись перед двумя полными “парашами” (в сумме около трех литров), я, увы, поступил как глупая собака в известной притче о мясе в ведре (на дно полного водой ведра положили кусок мяса и дали собаке. Она вылакала всю воду, а как дошла до мяса, уже не могла его осилить). По тюремной привычке я сперва выпил всю жидкость, весь супчик, а для гущи у меня уже не хватило пороха. Единственный шанс наесться не был использован.

Но еще не успел я осилить трофейную еду, как дверь распахнулась. Разъяренный надзиратель завопил: “Кто принимал суп!?”

Я, облизываясь, слез с верхних нар, на которых к тому времени поселился неподалеку от Жорика и Феде. Остальные дежурные уже кивали мне головами: слазь, дескать, отвечай теперь.

— Я получал. — Сказал я с самым невинным видом.
— Что же ты не сказал, мать твою так...., что же ты не говорил?

— Как не говорил? — Удивился я. — Я все время говорил.

— Что ты говорил, мать твою растак...?!

— Я говорил: “Спасибо, гражданин начальник”. Я все время говорил “Спасибо”. — Я притворился дурачком.

— Что же мне теперь делать?! Ты сколько мисок закосил?

— Я не косил. Я говорил спасибо.

— Мисок двадцать не хватает для другой камеры!

— Возгласил надзиратель.

— Ого. — Искренне удивился я. — Неужели так много?

Он не мог себе представить, что его обошли больше, чем на двадцать мисок. Он стал кричать, грозить карцером. Но я искренне удивлялся и, повторяя, что я же его благодарил, продолжал стоять с невинным видом.

Кончилось тем, что надзиратель вышел, не солоно хлебавши. Сколько угодно порций он, все равно, без труда получит на кухне, сказав, что не хватило — и все тут. А там найдут сколько требуется.

Авторитет мой заметно поднялся. Кстати, к вечеру я стал чувствовать себя лучше, чем утром: хоть водой, да набил брюхо. Гущу на дне, которую я уже не мог осилить, я тоже отдал Феде и еще кому-то.

— Я знал, что ты мне первому дашь миску. — Довольный, говорил Федя, расхаживая со мной по камере вокруг стола, бульвара каждой камеры. — Я так и думал.

Обсчет надзирателя произвел такое впечатление, что даже самые отъявленные мои недоброжелатели с почтением поглядывали на “жида”, сумевшего так объе... (скажем, “объегорить”) коридорного.

Это был один из ярких эпизодов моей жизни в Александровском централье. Увы, такие “яркие эпизоды” случались не часто и запоминались не только мне. Среди серого однообразия тюремной жизни это были События.

“ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ”

3 сентября 1946 года

Зек-банщик в Александровском централье
Сегодня по секрету сообщил,
Что год назад рейхстаг в Берлине взяли,
Капитуляцию фашисты подписали
И Сталин “День Победы” объявил.
За немотой железной двери
Мы все, привыкшие к неверью,
Решили: “опер”* научил...
И этот слух казался ложным,
Хоть в безысходности тюрьмы
Поверить в то, что невозможно,
Всегда скорей готовы мы.

* “Опер” — оперативный уполномоченный, офицер госбезопасности.

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ЛАМПАСЫ

Есть люди, внушающие уважение с первого взгляда. К таким, безусловно, относился Александр Владимирович Бак, занимавший в ОЛПе двадцать пятой шахты должность служащего в плановой части. Ее начальником был, конечно, вольнонаемный (никто из нас его никогда не видел), а все делал, всю работу, все отчеты выполнял Бак, без лишней суеты и шума. Жил он не в общем бараке, а в отдельной каморке рядом с плановой частью. Был всегда подтянут, аккуратен и, хорошо пригнанную по фигуре лагерную одежду носил, как парадный мундир. Латок с номерами на его одежде не красовалось, потому что Саша (разрешите мне его так называть: мы на всю жизнь затем остались друзьями и на “ты”) не являлся каторжником, а просто заключенным, хотя по страшной пятьдесят восьмой статье, но по ее самому, пожалуй, безобидному и, безусловно, самому благородному пункту, кажется, двенадцатому — о недоносительстве. Знал, дескать, об антисоветских высказываниях, слышал анекдот о длинных очередях или о других действиях кого-либо из своих знакомых или сослуживцев, но не донес, не доложил в органы безопасности, “проявил преступную халатность” или “политическую слепоту”.

Иное дело, что он до сих пор не знает, о ком и что ему следовало докладывать...

Арестовали его лишь где-то в пятидесятом году. Срок у него был по тем понятиям сравнительно небольшой — десять или двенадцать лет.

С внимательным, проникающим взглядом умных светлых глаз, немногословный (но уж если скажет, то

обдуманно и веско), не стриженный под машинку, как остальные зеки (тут ему делали послабление), очень выдержанный, он держался одинаково ровно, с достоинством и с начальством, считавшимся с его мнением, и с товарищами по судьбе.

Близок тогда по-настоящему он был лишь со старшим культторгом КВЧ Ефимом Абрамовичем Рисиным, чудесным человеком, якобы нашим бывшим разведчиком-чекистом, получившим двадцать пять лет срока за то, что поручился за своего подчиненного, который затем, выкрыв какие-то наши секретные документы, со своей любовницей-австриячкой перебежал к американцам. Ефим был предельно порядочным, считал, что срок свой заслужил. Правда ли, что он был чекистом — не знаю. После освобождения он не добивался реабилитации; вернулся в родной Ленинград, где работал вроде как начальником или заведующим какого-то цеха жестянщиков, что ли. Я заходил к нему и познакомился с его милой женой, приезжавшей, когда разрешили свидания, как и жена Бака, в Воркуту. Они были бездетными.

В ОЛПе вечерами Бак нередко заходил в библиотеку КВЧ и подолгу просиживал с Рисиным.

Разносторонне образованный, Саша хорошо разбирался в вопросах искусства, до ареста постоянно посещал лучшие спектакли и концерты в Москве, лично знал многих выдающихся деятелей культуры. Когда я ставил в зоне спектакли или концерты, Саша обычно присутствовал на последних репетициях и, признаюсь, очень многие его советы и подсказки помогали мне, как исполнителю и режиссеру.

Поговаривали, что до ареста Саша занимал какой-

то большой пост вроде главного референта при Совете министров СССР. Не знаю. Во всяком случае, вскоре после реабилитации он занял и много лет занимал должность заместителя Председателя Правления Союза писателей СССР по административно-хозяйственным вопросам и его донине вспоминают добрыми словами.

Уже через много лет после освобождения, сидя за столом в уютной московской квартире Саши, среди книг, подаренных ему Константином Симоновым, Задорновым, Друниной, другими известными писателями, услышал я от него рассказ, который мог бы показаться невероятным, если бы значительно раньше в виде слухов не был мне известен еще в Воркуте.

Но прежде, чем передать его, скажу, что даже заняв после освобождения сравнительно высокую должность, Саша по-прежнему остался отзывчивым и верным товарищем своим прежним воркутинским знакомым. А их было немало. Кстати, о его национальности никто из заключенных, может быть, исключая Рисина, не знал. Светловолосый, лобастый, уверенный в себе — таким все его знали и уважали. Да и какую роль это играло для лагерников? Там судили о человеке по его личным качествам, а не по национальности. Лишь значительно позже я узнал, что Саша, Ефим и я в анкетах против пятого пункта (национальность) можем спокойно написать короткое “да” — и все будет ясно: еврей. Но так, повторяю, коренастый Саша выглядел этаким солидным коренным русаком и русский язык и культура были его родными.

Но вернемся к основному повествованию. Естественно, когда Сашу посадили, ему стали “шить”, как и всем,

черт знает какую несусветицу. Однако он, не в пример многим, хорошо знал законы, умно и стойко держался на следствии и, хотя пришивали ему липовое — “знал, но не сказал”, протоколов допроса не подписывал и отделался сравнительно дешево. Правда, во время долгого пустого следствия в прожарках дезинфекционных камер и непрерывных шмонах его одежда истрепалась до уровня лохмотьев. Все пуговицы на штанах, пиджаке, рубашках были отрезаны, подкладки разорваны и оторваны, ремень и подтяжки отобраны. Бдительность!

Когда после закрытого суда Сашу определили на этап, он возмутился. Он умел отстаивать свои права даже перед тюремными надзирателями и он все-таки не был каторжником, а обыкновенным заключенным.

— В таком виде ни на какой этап я не пойду. Это противозаконно и дискредитирует тюремную администрацию. Немедленно требую прокурора — или голодовка. А за такое никто вам спасибо не скажет. — И все настойчиво, авторитетно и убедительно в том же духе.

А этап во дворе тюрьмы уже собирался. Близился вечер.

Тюремщики забегали, забегали — и нашли выход. Вскоре через кормушку в камеру втиснули Саше “новую одежду”, целый комплект — и уже давай торопить: “Скорее, быстрее, на выход!”

Понятно, что по-тюремному “новая одежда” была отнюдь не новой, а поношенной, хотя в значительно меньшей степени, чем Сашина. Он наскоро напялил ее на себя; его вывели во двор, выкрикнули: “Имя, отчество, фамилия, год рождения, статья, срок!?” — втиснули вместе с другими этапниками в “воронок”, при-

везли к запасным путям Ярославского вокзала, где стоял “вагонзак” (другое название — “столыпинский вагон”, специально оборудованный для перевозки заключенных).

Снова перекличка. Дорожный конвой принимает заключенных; всех заталкивают в вагон.

Когда доходит очередь до Бака, его жестом останавливает начальник конвоя, старший сержант с фронтовыми медалями на гимнастерке: “Одну минуту!” — и, быстро распределив этапируемых, как обычно, по 10-12 человек в каждое купе (мне несколькими годами раньше довелось ездить в купе, где теснилось 30-36 каторжников), ведет Сашу по вагонному коридорчику, открывает ему дверь в отдельное пустое купе и почтительно говорит: “Это будет вам, гражданин генерал. Устраивайтесь. Извините”. — И запирает дверь.

Сперва Бак не сообразил, в чем дело, почему такая предупредительность? Но, быстро поймав взгляд начальника конвоя, скользнувший по Сашиним штанам, понял: на выданных ему в тюрьме измятых брюках краснели, вылинявшие от прожарок в дезкамере, широкие генеральские лампасы. Какому несчастному генералу они принадлежали — неизвестно.

Всю дорогу от Москвы до Воркуты конвой обращался с “генералом” почтительно, не обижал ни пайком, ни выходом на оправку и всем своим видом выказывал уважение и сочувствие. Саша, в свою очередь, не пытался разуверить охранников в их заблуждении.

Так прибыли в Воркуту, где на вокзале конвой, принимавший этап, также почтительно отнесся к сановному заключенному. Его привели на так называемый “комендантский” ОЛП в городе, откуда распределяли

прибывших по шахтам и строительным объектам. На этом ОЛПе задерживали недолго... И там к немногословному сдержанному Саше относились надзиратели и заключенные, даже уголовники уважительно: генерал...

Когда же его отконвоировали на двадцать пятую, его сразу определили в плановую часть (ОЛП был каютный, а Бак был просто зеком) и здесь уже Александр Владимирович снял брюки с лампасами, обеспечившими ему благополучную дорогу в Воркуту и до самого ОЛПа шахты № 25, откуда он через пять лет освободился.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

(Из воспоминаний о пребывании
в ОЛПе шахты № 26 Воркуты)

Весь ОЛП располагался на довольно обширной плоской возвышенности и издали, благодаря многочисленным вышкам, поднимавшимся по всему периметру густого проволочного ограждения, чем-то напоминал старинное городище. Внутри, как положено, были бараки. В самом большом — столовая, она же — зрительный зал с маленькой сценой. В стороне от основной массы бараков едва чернела, немного поднимаясь над поверхностью, землянка бани. К ней вели рельсы узкоколейки. Воды в ОЛПе не было. Ее привозили в огромных бочках по узкоколейке для кухни и — летом — для бани. Там выдавали воду строго по норме: работягам — по одной шайке, нарядчикам, конечно, как и поварам, и еще некоторым придуркам, да-

вали воды сколько угодно. А уж о вольнонаемных, начальниках и их семьях, говорить не приходится. Умри, а воду достань — вдоволь, чтоб наплескались. Не то что трудягам.

Каждый ОЛП являет собой некое государство, имеющее свои автономные законы, свою иерархию и т. д. Не был исключением и ОЛП двадцать шестой.

Спроста в нем мало что делалось. Шахта только-только вступала в строй. На поверхности еще достраивались объекты; подвели ширококолейную дорогу. Первый же паровоз на проверочном рейсе свалился под откос насыпи: сделали на халтуру. К счастью, машинист успел выпрыгнуть.

Горняки и строители жили в бараках. Спали на голых нарах, укрываясь чем придется из старого ветхого тряпья. Голодными были все — и шахтеры, и строители, хотя вскоре началось нечто вроде введения хозрасчета и в зоне открылся ларек, в котором можно было кое-что прикупить из съестного и курева.

Получая заработанные деньги (после всех вычетов их было немного), работяга давал “лапу” (взятку) бригадиру. Это считалось обязательным: бригадир должен был давать “лапу” десятнику и нормировщикам, которые начисляли процент выполнения плана бригаде, от чего, понятно, зависела заработная плата и, главное, рацион питания. Больше процентов — больше хлеба, иногда “премблюдо” (котлетка весом граммов в пятьдесят или подобие пирожка). Кроме того, десятники и бригадиры должны были давать “лапу” нарядчикам. Повара платили “лапу” шеф-повару, рабочие бани — заведующему баней. Каков был размер “лапы”? Например, когда я работал кочегаром и дезинфекто-

ром-прожарщиком в бане, получая 56 рублей в месяц, я отдавал заведующему 25 рублей. Когда я стал (повышение по службе) работать водносом, обеспечивая вместе с латышом Лаудансом баню водой, а зимой снегом, чтобы вымыть две с половиной тысячи человек, не считая начальства и их близких, тогда зарплата повысилась до 150 рублей, а “лапа” — до 70. Известно, что заключенный ларечник, хлеборезы, повара, обвешивая и обсчитывая своих товарищей, выплачивали “лапу” через нарядчиков, а то и прямо вольнонаемному начальству. Говорят, так получал “лапу” сам начальник ОЛПа. Мне в это не хотелось верить. Но... говорили.

Знаю, что в недалеком ОЛПе другой шахты начальник не пропускал ни одной хорошенькой каторжанки, когда их еще держали в общих ОЛПах с мужчинами, за что, понятно, делал своим многочисленным “дамам” некоторые послабления по характеру работы. Он же был связан с олповской “мафией”, бандитами, которые нигде не работали, но жили при нем припеваючи. По указанию этого начальника последние не раз избивали, а то и убивали слишком болтливых каторжан. В ОЛПе у него отличные столяры изготавливали красивую мебель, которая шла в центр, Воркуту, в квартиры и кабинеты более высокого начальства, прикрывавшего своего пособника.

Так как выполнить по-честному тяжелейшую норму было почти невыполнимо, за “лапу” делали приписки, “усложняли” еще более условия работы и так далее. Все это помогало выполнять нормы и планы. Если б все приписки сложить вместе, получилось бы что-либо подобное сводкам информбюро в годы войны,

когда уже через три-четыре месяца, если подсчитать потери врага, гитлеровцам нечем было воевать и некому. Так и в сводках по выполнению планов. Сложи их — и шахта давно готова, а так... идет работа.

Шахта, говорятся, — дело темное. Там дела еще более осложнялись. Если бригадир на поверхности обычно имел дело с нормировщиком, десятником, нарядчиком и делился с ними “лапой”, от которой ему фактически ничего не оставалось, то над бригадиром шахтеров стояло еще больше “нужных людей”. Тут были и начальники участков, и сменные инженеры, и маркшейдеры, и еще, и еще, и еще... Там, естественно, тоже не обходилось без “лап”, но в еще более усложненном виде. Тут уже техника приписок стояла на более высокой ступени и, чем глубже в шахту, тем ступень выше...

И все же шахтеры считались наиболее уважаемыми, если вообще так можно говорить, работягами ОЛПа. Это были крепкие, сильные и здоровые ребята. Профессия, а шахта стала для них профессией, требовала мужества и силы, ловкости и смекалки. От них зависела марка ОЛПа, относившегося к шахте. Они не были такими голодными, как простые работяги, возившиеся на поверхности в дождь и мороз, укладывавшие кирпичи, доски, разгружавшие вагоны с оборудованием и так далее. Шахтеры держались дружнее и как-то выделялись из общей массы. Среди них тоже была градация. Но не столь заметная, как среди рабочих поверхности. Да, выделялись посадчики. Они работали по вызову. Их труд был наиболее опасным. Вообще же редко случался день, чтобы в шахте кто-либо не погиб или не был покалечен. Да, техника безопасности числилась, кто-то в ней служил, но безопасность отсутствовала.

Не секрет, что и сами горняки сплошь и рядом нарушали простейшие правила безопасности.

Признаюсь, автор этих строк, недолго работая на проходке, в шахте покуривал почти каждую смену. Запретный плод слаще. И, если не произошло несчастья, то это чистая случайность, Да и как могло быть иначе? Например, меня на проходку направили после короткой беседы о правилах безопасности. Группа, в которой был я, вручную откатывала вагонетки от забоев, где работали уже опытные проходчики. Недели через две нас подняли вновь на поверхность на погрузку. Увы, внизу было теплее и уютнее...

В каждом лагере была своя правящая партия, каста, — блатные, суки, зеленые и т. д., которая не работала, но требовала хорошего содержания. Обычно главарь, “духарь”, имел несколько “шестерок”, которые по его указанию воровали, совершали убийства, грабили, избивали неугодных их шефу. Эта правящая каста получала свою солидную долю от рабочей зарплаты через нарядчиков, а то и бригадиров.

Начальство считалось с “правлящей партией”. Последняя являлась опорой начальству в отношениях с “врагами народа”, заключенными по пятьдесят восьмой статье. “Правящая партия” нередко избивала работяг-отказчиков, доведенных до отчаяния непосильным трудом и дикими условиями. Избивали и бригадиров, недоплативших “лапу”, каптеров, поваров, а то и самих нарядчиков. В целом, однако, “правлящая партия”, как правило, идейно выдавала себя за защитницу работяг, с которых получала дань.

Чем не государство и не государственные отношения?..

Обычно какой-нибудь духарь, бандюга с низменными инстинктами, необразованный и тупой, способный лишь на жестокость, именно благодаря ей занимал свое видное положение. Его боялись, ему угождали, его обеспечивали. Начальство, повторяю, было связано с правящей в ОЛПе партией. Но, что характерно для лагерей системы Воркутлага, не совсем подходило к системе режимных лагерей так называемого “Речлага”.

В последних почти не держали уголовников — одни политические. В “Речлаг” угодили также “безродные космополиты”, родственники расстрелянных членов политбюро, как, например, сын председателя Госплана Вознесенского и т.д.

При мне двадцать шестая считалась “сучьим ОЛ-Пом”. Это значило, что здесь заправляли бывшие воры, суки, не выдержавшие строгостей воровского закона и поступившие на службу начальству. По воровским законам вор-честняга не имел права занимать никакие должности — ни бригадира, ни десятника, ни нарядчика. Вор не должен был работать и каким-то образом пособничать лагерному начальству. Изменивший этим правилам назывался “сукой” и подлежал по воровским законам истреблению. Естественно, что и суки, заняв ведущее положение в ОЛПе, всячески старались избавиться от “честняг”, старались отправить их на этапы в другие лагеря, запереть в БУР (барак усиленного режима), благо “честняги” сплошь и рядом убивали сук.

Те и другие выставляли себя защитниками работяг, пролетариев, безропотно трудившихся и плативших дань. Вот вам и налоговая система. Не все ли равно для работяги — кто царит в лагере; труженик все равно несет свой крест. А уж его именем спекулируют кто

и как может. Вглядитесь в государственное устройство любой страны и вы увидите, что везде порядки одни и те же. Вопрос лишь в том, кто больше обирает своих подопечных, а о их защите вопят все.

Стоит заметить, что и блатные, и суки обычно являлись любителями и даже покровителями искусства, то есть благоволили к певцам, танцорам (особенно “бацалам”, чечеточникам), музыкантам и вообще артистам. Лагерное начальство в меру возможностей и понятий, не всегда безупречных, также поощряло художественную самодеятельность, являвшуюся единственной отдушиной для всего контингента лагерников, погрязших в ужасной неустроенности быта и каторжных условиях труда.

Поэтому появление каждого нового артиста, профессионального или любителя, на олповской сцене никогда не проходило незаметно.

Вольнонаемное шахтное начальство имело свободный доступ в ОЛП и обычно целыми семьями посещало спектакли или концерты каторжан.

Особенностью ОЛПа двадцать шестой являлось тогда еще и то, что он считался “смешанным”: в нем были не только каторжники, но и заключенные с небольшими сроками, от пяти до десяти лет, обычно по бытовым статьям. Разумеется, “бытовики” занимали все ключевые позиции в лагерной службе — заведующий баней, нарядчики, заведующий каптеркой, ведавший вещевым довольствием, обувью и одеждой; основная служба кухни, ларечник, старший культорг культурно-воспитательной части и т.п.

Строго по инструкции каторжник не мог занимать никакой должности, не связанной с физическим тру-

дом. Но... куда было деваться без врачей, а они сплошь и рядом были каторжниками; как могло развиваться производство без инженеров, опытных и добросовестных специалистов; как могло осуществляться даже примитивное культурное обслуживание без квалифицированных энтузиастов? Понимая все это, начальство закрывало глаза на отдельные исключения...

ОЛП двадцать шестой относился к системе Воркутлага, а не Речлага, а потому режим в нем не отличался такой регламентированной жестокостью. Бараки на ночь не запирали (от этого подчас происходили убийства: воры убивали сук), письма разрешалось посылать раз в месяц, а не раз в полгода, как в Речлаге; каторжники носили номера на шапке, на спине, на брюках (выше колена), но не носили большой буквы "Р" (Речлаг) на рукаве. Надзиратели меньше придирались к воркутлаговцам по всяким режимным поводам (например, не встал смиренно, приветствуя проходящего мимо надзирателя, и т.п.)

По сравнению со своей подкомандировкой, находившейся в двух километрах в ложбине, основной ОЛП все же имел лучшие условия быта.

Любимцем публики здесь был клоун Василий Иванович Пинчук, который после тяжелой травмы в шахте работал на кухне. Уроженец Балты, полный юмора, жизнерадостный и абсолютно бескультурный, этот актер-любитель был по-настоящему одаренным. Несмотря на солидную комплекцию, он легко танцевал, был ритмичен, очень музыкален, обладал неплохим голосом и, главное, бесконечным обаянием. Что бы он ни делал — все, даже пошлое, окрашивалось таким непосредственным юмором, что привлекало к исполнителю.

Могут спросить: а как же существовали или широко жили блатные в лагере, где все обязаны работать? Очень просто. В шахтерских и строительных бригадах всегда числились какие-то люди, сроду не выходившие на работу, но постоянно... перевыполнявшие нормы, а потому регулярно получавшие лучшее довольствие и зарплату. Даже в сучьем ОЛПе нарядчики, чтобы не дразнить “блатных гусей”, проводили некоторых из них в рабочих бригадах. Работяги знали об этом, но вынуждены были молчать, так как малейший ропот зверски подавлялся бандюгами при полном нейтралитете начальства: сами, мол, пусть разбираются.

Введение хозрасчета поколебало положение тунеядцев. Однако, вскоре все снова наладилось, едва пошатнувшись. В 1951 году объявили о введении зачетов. Это являлось путем к досрочному освобождению. Горняку-подземнику при хорошей выработке норм засчитывался один рабочий день за три. Таким образом, если ему оставалось отбывать еще восемь-десять лет, он мог эту дистанцию одолеть за три-четыре года. Соблазнительно! Но и тут страх пересилил: по-прежнему блатных и еще кого прикажут проводить в бригадах, приписывая им крупные зачеты. Получалось, что рабочий обязан обрабатывать не только себя, но и еще ряд паразитов. Недовольство росло. Иные, уже получив опыт пребывания в лагере, перестали так робеть перед блатными, как в первые годы, и иногда давали им такой отпор, далеко не бескровный, что бандюги утихомиривались. Так было, когда в лагерь стали массами поступать молодые немцы, осужденные к 20-ти годам каторги за нарушения границы места поселения (зашел на танцы в клуб соседнего района, потанцевал с девуш-

кой — и двадцать лет каторги: нарушение). Бандеровцы вообще сразу дали понять блатным, чтоб последние их опасались, а не наоборот. Но это - где и как... К началу 1952 года в большинстве лагерей появились матрацы, их набивали соломой, сеном, и уже не на голых нарах продолжали кормить клопов. Стали появляться даже байковые одеяла. Улучшилась одежда: чаще стали менять бушлаты и телогрейки. Появилось нательное белье. А до того люди по несколько лет обходились бельем и зачастую одеждой, в которой их некогда арестовали.

Следует напомнить, что каторжные, как и все вольные советские граждане, обязаны были подписываться на заем в размере не меньшем, чем месячная зарплата. Кроме того, при выдаче зарплаты вычитали налог за бездетность. Большинство каторжан, бывшие военнопленные, не успели до войны обзавестись семьями, а потому платили и этот налог. По правилам режима они не имели права быть в близких отношениях с женщинами; это сурово каралось. Женщинам, которые раньше находились одно время на подкомандировке двадцать шестой, приходилось платить те же налоги. Раньше, пока женщин не вывезли — одних на кирпичный завод, других — немного южнее Воркуты на работы по лесоразгрузке и в совхоз, между каторжниками и каторжанками нередко возникали романы. Детей через короткое время после появления на свет отрывали от матерей, переводя в какие-то детприемники, в которых, как оказалось после, из-за отвратительных условий многие погибли. А до того женщины наравне с мужчинами работали под землей в шахте и здесь уследить за любовными свиданиями было не под силу охране.

Были до пятидесятого года на двадцать шестой и пленные немцы. Знаю, что среди них был и старый генерал-лейтенант Гёнике, командир шестьдесят первой “чертовой” дивизии на Волхове. Гёнике имел в своем распоряжении денщика и, конечно, не работал: ему было уже за семьдесят. Примерно тогда же, когда и женщин, с ОЛПа перевели поужнее и немцев. Затем провели еще “чистку”: отправили бандеровцев и часть прибалтийцев в Речлаг. Одним словом, ко времени прибытия из Сибири нашего этапа состав ОЛПа нуждался в пополнении. Среди вновь прибывших оказались также молодые немцы из Карлага (из Караганды), имевшие по двадцать лет каторги за нарушение границ поселения, о чем я упоминал выше.

Нарядчиком на двадцать шестой при мне был не сука, а фраер, Борис (фамилию забыл), большой любитель театра и искусства вообще. Старшим культургом был Василий Антонович Кузнецов, бывший председатель колхоза, малосрочник, симпатичный мужчина лет тридцати пяти, уроженец среднерусской полосы. Кузнецов также был любителем искусства. Его влекло к культурным людям.

Освободившись еще в 1952 году, Кузнецов не побоялся, находясь на воле в родной рязанской или тульской (уже не помню) деревне, писать мне письма уже в ОЛП шахты № 25. Я, в свою очередь, через вольных тоже несколько раз отвечал ему, пока переписка не прервалась. Я упомянул вольных, то есть вольнонаемных. Они работали на шахте и, как правило, между ними и каторжниками были хорошие отношения. Приехав в Воркуту по вольному найму, получив инструктаж о том, с какими врагами народа им придется ра-

ботать и как при этом надо себя вести, вольнонаемные быстро убеждались в лживости инструктажа и видели в нас таких же людей, как они сами, а потому часто помогали нам, в частности, в вопросах переписки.

Начальник ОЛПа и вольнонаемный состав, надзиратели, охрана, различные офицеры считались как бы существами высшего порядка. Им прощали многое, что не прощалось друг другу. Они стояли вне жизни лагеря, хотя целиком зависели от него, даже в вопросах получения премиальных, которые выдавались и охране и надзирателям, когда шахтеры-каторжники перевыполняли план добычи угля.

Начальство стояло над своим самоуправлением — нарядчиками, десятниками, бригадирами, разными придурками, работавшими в каптерках, на кухне и так далее, включая КВЧ. Но нарядчики и вся властвующая верхушка зависели еще и от хозяев ОЛПа - блатных или сук, или других каких-либо представителей разных преступных элементов. Последние не раз устраивали убийства нарядчиков или других, не угодивших им руководителей из числа заключенных. Обычно вопрос об устранении того или иного человека решался на закрытом совещании главарей блатных или других "правлящих группировок". Случайных убийств, заранее не спланированных, не было. Разве что между самими блатарями: напьются, поспорят — и за ножи. Последние в зоне всегда имелись. Их изготавливали в мехцехе шахты и проносили через вахту. Можно было достать нож и у кухонного персонала. Не проблема.

Вот возле вахты изолятора крутится невзрачный заключенный узбек. По-русски он говорит еле-еле. В ру-

ках у него небольшой, чувствуется, увесистый мешок, черный внизу: намок от чего-то.

Выходит дежурный надзиратель: “Чего тебе?”

— Там, — объясняет узбек, — в бараке я убил этим (показывает на мешок с запекшейся на нем черной кровью) — такого-то. Сажай меня, гражданин начальник.

Видно, на него выпал жребий, кому надо выполнять приговор воровской шайки. Как и в государстве, исполнителями являются мелкие сошки. Убийце добавят срок, которому у него и так конца не видно, и через некоторое время он вернется в зону, не в эту, а в другой ОЛП, где уже, зная его прошлое, с ним будут больше считаться.

Убил он так одного бригадира по указке блатных, который не захотел платить им “лапу”. Как убил? Когда бригадир в бараке после ночной смены спал, узбек с мешочком, в котором был увесистый камень, тихонько подошел к спящему, разбудил его (спящего убивать не положено) и, когда тот открыл глаза, нанес ему несколько страшных ударов мешком с камнем по голове. Потом спокойно пошел к изолятору. Соседи даже не проснулись: крепко спали после ночной смены.

Другой раз одного нарядчика (до Бориса) убили на шахте топором при всех работягах. Несколько человек окружили — и все. Топор был обычным орудием убийства. Бывали случаи, когда кого-либо, обычно стукачей, приканчивали в карьерах на земляных работах. Тут уж виновных не найдешь: несчастный случай. Придавило...

Редкий день обходился без смертельных травм в шахте. Помню одного красивого, полного сил молодого механизатора по фамилии Кладонос. Его тяжело трав-

мировало в шахте, отбив ему обе ноги, и он, не приходя в сознание, скончался. Я видел издали, как милый врач Николай Григорьевич, тоже каторжник, при открытых дверях маленького сарайчика-морга делал вскрытие.

Когда Кладоноса хоронили, я тоже пошел с группой могильщиков. Мы пришли в нечто вроде долинки среди тундры километрах в двух от ОЛПа. Холмиков почти не было видно. На кочках тут и там торчали короткие колки вместо крестов. На них химическим карандашом были написаны номера тех, кто лежал в земле.

Конвоиры стали по четырем сторонам кладбища, где мы рыли могилу. Оказалось, что нам предстоит еще работа: некоторых, умерших зимой, не смогли похоронить, а лишь присыпали снегом гробы. Теперь они стояли на поверхности. Кто-то подошел к одному, почему-то открытому гробу. Из него торчали туфли на высоком каблуке. Товарищ назвал фамилию женщины каторжанки, погибшей поздней осенью прошлого года в шахте при обвале.

Подруги одели ее получше, как могли, чтобы хоть на тот свет покойница попала не в каторжной телогрейке.

Разыскали неподалеку крышку гроба. Похоронили.

У меня и сейчас стоит перед глазами это пустынное подобие кладбища, располагавшегося, как мне кажется, ближе к двадцать пятой шахте, чем к двадцать шестой. А женщины тогда жили на подкомандировке двадцать шестой и оттуда их водили в шахту, где они работали в забоях и лаве, на проходке, в службе движения. Пусть читатель представит себе: женщина в шахте, в

нечеловеческих условиях каторжного труда, в угле и глине, женщина, которая, может быть, недавно стала матерью или готовилась, вопреки зверским запретам, ею стать.

Возвращаясь с кладбища, каждый думал о своей доле, о том, что и ему предстоит лежать безвестным среди дикой тундры под колышком, с которого первые весенние дожди смывают даже тот номер, который носил при жизни лежащий в мерзлой и вязкой запыленной земле.

И все же в каждом ОЛПе искали какие-то развлечения. В Воркутлаге, в отличие от каторжных зон Сиблага, были библиотеки — и хорошие. Были в КВЧ шахматы, шашки, в некоторых ОЛПах даже бильярд, конечно самодельный; были баян или аккордеон, гитары, мандолины. Другое дело, что заниматься этим было недосуг. Но все же страстные любители музыки, сцены, несмотря на дикую усталость, находили минуты или часы, чтобы заниматься любимым искусством.

При КВЧ обязательно полагался художник, если это был мастер, он рисовал портреты начальников или делал копии картин великих русских художников по заказу. Тут сквозь пальцы смотрели на то, что он каторжник. Кроме прочего, он разрисовывал по трафарету столовую, кухню, кабинеты начальников, за что получал мзду в виде папирос, махорки или хлеба.

В отличие от Сиблага здесь в каторжных ОЛПах были сцены, в КВЧ можно было послушать радио, почитать газеты, журналы. Изредка в ОЛП привозили какой-нибудь фильм. Но самым популярным в каждом лагере становились спектакли своих артистов—любителей или концерты.

К сожалению, я забыл фамилию прекрасного актера-профессионала, ставившего на двадцать седьмой шахте пьесы Шекспира, Гольдони, оперетты. Естественно, что женские роли исполняли мужчины. Иногда очень ярко.

Были ли в лагере отклонения от сексуальной жизни? Видимо, да. Потому что некоторых “шестерок” блатных мы между собой называли “Машками”, “Катьками”, “Надьками”. Вероятно, там не было дыма без огня... Но лагерной сцены это не касалось.

Мне довелось поставить немало спектаклей на этих сценах, стараясь выбирать пьесы, где меньше женских ролей. Сам я участвовал во многих спектаклях и концертах. Каждый лагерь имел своих любимых артистов и любимый репертуар. На двадцать шестой, где оказалось немало цыган, некоторые из которых одно время участвовали в спектаклях Воркутинского музыкально-драматического театра, часто исполнялись различные танцы, не обязательно цыганские, а также романсы, в основном старинные. Но большим успехом пользовались и песни военных лет, близкие каждому, потому что почти каждый второй воевал в Красной Армии. Тысячу раз могли каторжники слушать “Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины” или “Жди меня” Константина Симонова, песни “Эх, дороги”, “Смуглянка”, “Землянка”, “Прощайте, скалистые горы”...

Из музыкальных произведений особой популярностью пользовались “Элегический полонез” Огинского, “Амурские волны”, “Дунайские волны”, “К Элизе”, и конечно, разные поурри на темы русских и украинских песен.

Музыка невольно захватывала и даже не в идеаль-

ном исполнении трогала сердца, уносила мысли куда-то в прошлое, в несбыточное, заставляя забывать о голодном желудке, об усталости, о трудах предстоящих смен. Даже люди, на воле не соприкасавшиеся с искусством, в лагере незаметно приобщались к нему, оказывались под его живительным воздействием.

“НОВЫЙ КОМБАЙН “ДОНБАСС”

(Первая встреча с профессиональной журналистикой)

Усилия любителей сценического искусства не пропали даром. Кончилось почти годовое пребывание на общих работах, включая каторжный труд в бане водоносом (надо учитывать, что по штату нас числилось шестеро, а работы выполняли только двое, латыш Лауданс и я). Итак, после моих очень успешных выступлений на сцене в качестве актера, режиссера и чтеца каким-то образом старшему культоргу Василию Антоновичу Кузнецову, нарядчику Борису и повару Василию Ивановичу Пинчуку удалось убедить кого-то из начальства закрыть глаза, а начальнику культурно-воспитательной части ОЛПа Николаю Устиновичу Чижову, бывшему фронтовику, старшему лейтенанту, взять меня в КВЧ. Надлежало мне, как культоргу, ведать художественной самодеятельностью, стенной газетой и, о ужас, трудовым соревнованием. Это значило, что я должен брать в плановой, кажется, части результаты выполнения плана бригадами и писать их на большой доске в центре ОЛПа, дабы каждый день знали о ходе

выполнения плана и взятых обязательств. Проводили меня художником, а художника культторгом. Конечно, после предыдущих работ мое нынешнее положение можно было считать курортным. Как только меня взяли в КВЧ, Чижов распорядился, чтобы в каптерке мне выдали новенький бушлат, ватные брюки, фуфайку, валенки или ботинки (не помню уже). Вышел я из каптерки по-лагерному пижон-пижоном.

Новая должность имела ряд преимуществ. Так, например, вечернюю проверку можно было проходить не в бараке, а на рабочем месте, в читальном помещении библиотеки.

Чижов впервые исполнял свою должность. Это был честный фронтовик, отнюдь не чуждый выпивке, а потому сквозь пальцы смотревший на то, что могут выпивать и другие. Чижов, как я понял, считал, что еврей не может быть пособником гитлеровцев и никогда не позволял себе упрекнуть либо меня, либо кого другого в пособничестве оккупантам. Повторяю: он был фронтовиком, а фронтовики знают, что от плена никто не застрахован.

Итак, я приступил к работе. Первым делом надо было выпустить стенную газету. Я этим сроду не занимался. Спросил у старшего культорга. Тот посоветовал посмотреть на старые стенгазеты. Я достал какие-то; глянул и ужаснулся: это был верх неграмотности. Одна огромная статья о трудовом соревновании занимала всю газету. Кто же будет ее читать? Надо иметь железные ноги, ведь эту газету читают стоя. Не лучше оказалась и другая газета.

Василий Антонович посоветовал писать маленькие заметки, но ими побольше охватывать. Критика ис-

ключалась. Точнее, нельзя было критиковать вольнонаемных, а кухню, каптерку, нарядчиков — все то, за что тебе могут снести голову, — пожалуйста.

— Ты лучше пиши о трудовых успехах бригад в шахте и на поверхности, о лучших людях, — посоветовал Василий Антонович.

Я последовал разумному совету. Кроме того, я ввел в газете нечто вроде поэтического отдела, где стал помещать стихотворные посвящения лучшим участкам, лучшим рабочим, участникам самодеятельности. Газету стали читать.

Как культорг, я мог по предварительной заявке утром со сменой идти на шахту, спуститься в нее, ходить по всяким отделам шахты, по мехцеху и другим мастерским. Стенгазету я стал выпускать два-три раза в месяц, чему возмущался художник (лишняя работа) и все же нет-нет да поднимал в статьях вопросы об улучшении техники безопасности, работы подземного движения и так далее.

Но вот в КВЧ пришла настоящая, отпечатанная типографским способом газета “Шахтер”, орган комбината “Воркутауголь”. Это была закрытая газета Воркутлага, вероятно, основанная для стимуляции труда заключенных. В ней не указывалось номеров шахт или ОЛПов, а писалось: “Горняки шахты, где начальником КВЧ Чижов, взяли повышенные обязательства и т. д.”, “Строители предприятия, где начальником КВЧ Иванов, сделали сверх плана столько-то шкафов” или еще чего-то в том же духе.

Во мне, как и в каждом из нас, простых смертных, жило большое уважение к печатному слову и к тем, кто пишет в газеты. Думалось, не всякому дано туда писать. Печатное слово — великое слово.

Оказалось, что не боги горшки обжигают, и в эту газету не только могу, но и должен писать я, культторг.

— А как же писать? — спросил я начальника КВЧ.

— А вот так и пиши, — пояснил он, — что на шахте, где начальником КВЧ Чижов, горняки такой-то бригады, можешь назвать бригадира, такого-то участка, можешь назвать начальника участка, добились новых успехов. Они перевыполнили плановое задание на столько-то процентов. Особенно отличились такие-то горняки. Можешь назвать фамилии.

Так вот, оказывается, каковы начала журналистики! И, следуя рецепту Чиждва, я написал сразу три или четыре маленькие информации, взяв при выходе на шахту необходимый материал.

Информации я отдал начальнику КВЧ, который регулярно ездил в город Воркуту, где находилась редакция газеты.

Через недели две Чижов привез из Воркуты очередной номер “Шахтера”, в котором под какой-то информацией стояла моя подпись — А. Клейн.

Не скрою, в душе я возгордился: имя мое в газете! Дальше это стало уже регулярным. Шахтеры, зная, что газета идет по всем ОЛПам Воркутлага, нередко через нее давали знать своим товарищам о себе, как и другие.

Шахту сдали в эксплуатацию. Теперь главными героями стали шахтеры — добытчики “черного золота”. Каторжники трудились под землей на совесть. Там, в черных недрах, возле них не стояли осточертевшие конвоиры, никто их не подгонял. Они сами знали, что и как надо делать. Шахтеры были как бы привилегированным классом в ОЛПе. С ними считалось лагерное

начальство, а потому надзиратели, хотя хмурясь, но нередко пропускали мимо ушей откровенные высказывания горняков о своих охранниках.

Шахту старались оборудовать новой техникой. И вот прислали из далекого Донецкого угольного бассейна техническую новинку — угольный комбайн “Донбасс”, который должен был резко повысить производительность труда, добычу угля, и облегчить труд подземников. Прислали, однако, не новый комбайн, а списанный, в котором не хватало кучи деталей, в том числе даже коленчатого вала.

Конечно, ни один участок не хотел брать на вооружение эту “новинку”, комбайн притащили в мехцех, и мастера мехцеха сумели вручную сделать коленчатый вал, разные другие недостающие детали и агрегат стал хоть внешне похож на себя. Но осваивать “Донбасс” было нужно и его всучили какому-то участку.

Я немного слышал о возне вокруг комбайна и, узнав о мастерстве тружеников мехцеха, пришел к ним. Мне объяснили, какую развалюху прислали с юга (“подарок донецких шахтеров”), как пришлось повозиться, чтобы привести его в божеский вид. В заключение я узнал, что его всучили участку номер четыре.

Красочное описание работы мастеров мехцеха по настоящему восхитило меня и я написал для “Шахтера” большую статью о мастерах нашего механического цеха. Чижев, как всегда, отвез заметку.

Прошло около месяца. Как-то после смены в КВЧ вошла группа горняков.

— А где тут Клейн?! — возгласил один из них, кажется, бригадир.

Ничего за собой худого не ведая, я спокойно отозвался.

И тут посыпались отборные ругательства, из которых самым мягким было прозвание “проститутки”.

Я все еще ничего не мог понять.

— Смотри же, падло! — И мне под нос сунули свежий номер “Шахтера”. — Читай, ссука!..

Я взял в руки газетку и мои глаза сразу увидели крупный заголовок: “Новый комбайн “Донбасс”. Далее следовало: “Недавно горняки шахты, где начальником КВЧ Чижов, получили замечательный подарок — новый комбайн “Донбасс”. Работники мехцеха быстро смонтировали его и передали четвертому участку, который с его помощью регулярно перевыполняет план. А. Клейн”.

— Клянусь, — сказал я, — ничего подобного я не писал. Я писал о работниках мехцеха.

— Да мы из-за этой проклятой развалюхи второй месяц план не выполняем и сидим на подсосе. — Возмутились горняки. — Не может быть, чтоб не ты писал: подпись твоя.

Я понял все, но еще не знал о “возможностях” нашей прессы (не только для заключенных). Я попросил Чигова добиться опровержения. Но он ответил: “А кто на других шахтах об этом знает? Никто. А так пропаганда нового технического достижения. Печатают не то, что ты пишешь, а то, что нужно с общей точки зрения. Понимаешь?”

Я с этим не мог согласиться. Конечно же, никаких опровержений не последовало. Правда, вскоре начали поступать действительно новые комбайны “Донбасс”, облегчившие работу шахтеров и повысившие произ-

водительность труда. Но этот... первый блин был комом и для горняцкого участка, и для меня. Стоило огромных усилий Василию Антоновичу и мне убедить разъяренных горняков, что в превращении развалюхи в “новый комбайн “Донбасс” нет моей заслуги.

Увы, впоследствии, уже будучи свободным, я не раз сталкивался с лживостью и бесцеремонностью нашей прессы в отношении авторов и их материала. Уже после моего освобождения не раз мои статьи безграмотно обрабатывались, все в них перевиралось, подчас — нередко — вместо подписи ставили псевдонимы, о которых я не слыхивал. О том, что без меня меняли заголовки моих материалов, — это ладно, а вот содержание... Как-то в одной из моих рецензий, а уж их-то я писал со знанием дела, ввели “пояснительную фразу”: “артистка хорошо играет лицом”, даже не понимая, насколько это выражение безграмотно с театральной точки зрения. Уж просто написали бы: “Артистка хорошо играет задом”. Все-таки весомее. Но первым ударом при встрече с профессиональной журналистикой для меня стал “Новый комбайн “Донбасс”.

ВСЕ ШУТОЧКИ...

Все же культорг, даже каторжник, не был беззащитен. Начальник КВЧ Чижов не давал в обиду своих работников. Не раз защищал он и Василия Антоновича, когда тот резко вступал в спор с надзирателями. А так как Чижов ни в каких темных делах замешан не был, надзиратели его побаивались. Он выговорил, как я упоминал, право культоргам проходить

вечернюю проверку в домике КВЧ, в читальном зале.

Как-то вечером каким-то образом мне достался кусок хлеба, который я благополучно дожевывал во время поверки.

Ответив на положенный вопрос: статья, срок и т. д., я вновь положил кусочек хлеба в рот.

Надзиратель это заметил и, будучи в хорошем настроении, сказал: “Ух ты, Рафаил Соломонович (он подчеркнул “Соломонович”), с какой ты жадностью ешь. Ты смотри, меня не слопай”.

— Не бойтесь, — ответил я, — мне свинину кушать не положено.*

Надзиратель сперва ничего не понял. Но, когда грянул взрыв смеха, он опешил. Дико глянул на меня, но не нашелся что сказать.

На другой день весь ОЛП хохотал: Клейн безнаказанно обозвал надзирателя свиньей.

А разве я был неправ?..

КАК ДОБЫВАЮТ СПИРТ

Вчера после работы дали получку. Немного, но деньги. Естественно, каждый их держал при себе. Оставишь на нарах — поминай, как звали. Концов не найдешь. Вывели нас человек двадцать копать глубокие траншеи для чего-то шагах в ста от зоны. Приставили, как водится, автоматчиков, и мы принялись за работу. Вскоре ранее уже начатая траншея стала нам

* Мусульманская и иудейская религии запрещают употреблять в пищу свиное мясо и жир.

по пояс. Моросил осенний дождик, земля прилипала к лопатам, с каждой минутой копать становилось труднее. Так как нормы не установили, то мы копали не спеша, то и дело перекуривая. Конвойные, стоя на близком расстоянии от нас, как водится, не вмешивались, даже иногда обменивались шутками с тем или другим, уже им знакомым каторжником.

— Эх, — сказал мой напарник, — в такую бы погоду да выпить. — И, обращаясь к конвойному, прищурясь, негромко бросил: — Не разживемся ли чего спиртного?..

Конвойный усмехнулся. Подмигнул и вместо ответа направился к стоявшему от него шагах в двадцати другому конвою.

— Сейчас стукнет. — Мелькнуло у меня в голове и я с тревогой посмотрел на напарника.

Тот понял мои опасения и, наклонившись, будто копая в канаве, заметил: “Если у них есть, обязательно доставят. Они же знают, что у нас вчера была получка”.

Я недоверчиво посмотрел на товарища. Меж тем конвойный вернулся на свое место, став немного ближе к нам, чем раньше.

— Собирай по сто за поллитра. — Негромко кинул он моему напарнику. — Чистый спирт-ректификат, девяносто шесть градусов. Идет?

— Идет. — Мой товарищ прошел по траншее к другим каторжникам. Пошушукались. Вскоре он вернулся.

— Давай четвертную. По поллитра на четверых. Маленько погреемся.

Я никогда не увлекался выпивкой. Но тут... Запрет-

ный плод прельстил и меня. Да и как же не поддержать рискованную компанию? Я поспешно дал соседу четвертную. Как я понял, таким образом собрали мы около трехсот рублей. Как раз на три бутылки, которые в магазине для вольнонаемных стоили почти в двадцать раз дешевле.

Наш конвойный посмотрел еще раз по сторонам и приблизился к траншее. Мой напарник показал ему свернутые трубочкой деньги и назвал сумму.

— Ладно, — сказал солдат, — только без обмана. Наклонился, будто поправляя чего-то на сапоге, взял деньги, выпрямился — и я обмер: конвоир буквально под самым моим носом ковырнул сапогом в кучке грязи или мусора и из нее выкатились три бутылки спирта. С этикетками.

Бутылки сразу разнесли по траншее. Закуски не было. Пить неразбавленный не стали. В найденную где-то пустую полулитровую банку набрали из лужи воды и, разбавляя ее пополам со спиртом “на глазок”, поочередно стали пить. Нашлось даже нечто вроде закуски: другой конвоир притащил и кинул кусок соленой трески. Мы тут же разделили закуску. Каждому досталось по маленькому кусочку соленой рыбы.

По обыкновению, выпил я свою долю одним духом. Ого! Это была не водка. Спирт сразу начал разбирать меня. Плохо помню, как доработал до конца. Помню, что очень боялся, что на проходной унюхают, а потому держался подчеркнуто спокойно. Но никто не “унюхивал”. В наследство от этого “пира” осталась только сильная головная боль. А когда я признался своему другу Василию Антоновичу, культоргу, он сказал, что я дурак, и чтоб больше ничего такого не делал, но ведь

выпить-то хотелось: уже лет восемь, как во рту ничего спиртного не было.

Прошло около тридцати лет. И случилось мне, навещая сына-юношу, по недоразумению или злой воле нашей горе-юстиции очутившемуся за проволокой, приехать к нему на свидание. Видясь с ним, я познакомился с некоторыми другими заключенными, в частности, с одним очень интересным образованным человеком Николаем К., лет сорока-сорока пяти, также явно по недоразумению оказавшимся в лагерной зоне. Он страдал желудком и нуждался в диетическом питании, которое ему время от времени присылали из Москвы жена и сын, а то и доставляли из города (лагерь был километрах в пятнадцати от него) знакомые, которым жена оставляла деньги.

На следующий день я снова собирался приехать проведать сына. Я предпочитал каждый день ездить, чем ночевать в так называемом доме свиданий на отвратительной койке в каморке с клопами. Николай попросил, чтобы я привез ему приготовленную в городе для него передачу. Я охотно согласился. Он предупредил, что коробка с продуктами очень большая и мне ее погрузят в такси.

Заказав такси, я вышел из гостиницы, поехал по указанному адресу и там уже дожидавшийся меня симпатичный молодой человек вытащил и погрузил в багажник огромную картонную коробку.

Я приехал к лагерю. Мне помогли разгрузить ящик и даже занесли в специальную комнату, где, как положено, проводился осмотр передаваемых вещей.

Вошел дежурный прапорщик, чтобы в присутствии меня, сына и Николая (я не скрывал, что привез передачу для него) осмотреть содержимое.

— Тут диетпитание. — Спокойно сказал я прапорщику.

Он кивнул, быстро развязал веревку, охватывавшую коробку, открыл ее и, меня чуть не хватил удар: вытаскивал с улыбкой одну, потом другую и третью бутылки коньяка.

Я застыл в ужасе. Но сын и Николай делали мне успокоительные мины. Действительно, прапорщик спокойно положил за пазуху одну, вторую и третью бутылки и, подмигнув мне и заключенным, вышел.

— Что это? — Еле выдавил я.

— Не волнуйтесь, — успокоил меня Николай. — Они это разделят между собой: я им обещал. Зато к нам по-человечески относятся. Не беспокойтесь.

Да, тревога оказалась ложной.

Риск охранников был невелик. Ведь прошло около тридцати лет... после смерти Сталина...

О TEMPORA, О MORES!*

(Зарисовка с натуры. Воркутлаг, 1952 г.)

Примолкло сонмище ершистых заключенных;
Пестрея латками, сидят они, стоят, **

* — “О времена, о нравы” (лат.) — восклицание из речи Цицерона.

** “Пестрея латками” — заключенные каторжники носили латки с крупно написанными своими порядковыми номерами на брюках (на колене), на спине (на бушлате или фуфайке), на шапках. Кроме того, заключенные Речлага (лагеря особого режима) носили нашивки с буквой “Р” на рукавах.

А впереди — мундиры и погоны:

Начальство

занимает первый ряд.

Безумная Офелия, Гертруда, —

В-одном лице — вдова, жена и мать.

Откуда?

Нет, какое чудо

На эту сцену их могло призвать?

Кто даст ответ на странные вопросы?

Повсюду ложь, кругом — “слова, слова...” *

Рой дам придворных, очень рослых...

Идет спектакль в лагпункте шахты-два.

Вот датский принц — святилище ума

(Не зря его ничтожества пинали) —

Он говорит, что Дания — тюрьма

(Кто с нею незнаком в битком набитом зале?).

Ведь зал — столовая. Прокисших щей душок

Да запах плесени.

Но разве дело в “духе”,

Когда заслуженный артист Цветухин,

Бледнея, произносит монолог?!

“Быть иль не быть?” — Глаза блестят.

Он — Гамлет и ему лишь тридцать.

А так... страдает сердцем, глуховат;

Шестой десяток.

Десять

здесь томится.

Увы, от прародительницы Евы

Ведет к беде доверчивость сердец.

О, женская натура королевы?..

* “Слова, слова...” — цитата из реплики Гамлета.

И кубок с ядом выпит наконец.
Вся публика трагедией старинной
До глубины души потрясена.
Заслуженный успех.

В ролях —

одни мужчины.

Шекспировские времена...

Цветухин Александр Петрович — заслуженный артист РСФСР, каторжник, узник Воркутлага. Лагпункт — лагерная зона, где содержали заключенных.

НЕ СУДИТЕ...

Часто слышишь: “Я бы на его месте так не поступил (или не поступила)”, “Да я бы скорее дала себя убить, чем отдалась ему...”, “да я бы сразу...”, “да я бы застрелился, скорее”, “я бы...” Таких выражений хватает ныне, а в войну и в послевоенное время, когда касались поведения, или, точнее, судеб так называемых “врагов народа”, было еще больше: каждый в страхе отмежевывался от “изменников Родины”. Как водится, особенно “героически” были настроены тыловики, окопной правды не нюхавшие. Эти-то герои тыла любили подчеркивать чистоту своих помыслов и биографий — от неграмотных дедушек и бабушек до своей безграмотности. В анкетах у них значилось “за границей не был”, “родственников среди репрессированных нет”, “родственников на временно оккупированной территории нет” и так далее. А если к этому прибавить уже сравнительно недавно прозвучавшее по теле-

видению гордое высказывание одной патриотки, что “у советских людей нет секса”, то картина будет почти полная, понятная думающим людям.

Не забыть, как по улицам крупнейшего города Сибири вели колонну оборванных измученных доходяг — “врагов народа” — в большинстве бывших красноармейцев, имевших несчастье побывать в немецком плену. Из толпы, стоявшей на тротуаре, звучали реплики, вроде “у-у, гады”, “сволочи”, “продажники”, “сразу видно — предатели”, “вон какие рожи”, “убить их мало, фашистов проклятых”... Люди выкрикивали ругательства, не давая себе труда представить, в каких обстоятельствах и в большинстве не по своей вине оказывались эти, ежившиеся от потока оскорблений оборванцы, конвоируемые автоматчиками с собаками. Толпе не возразишь: открывать рот в строю заключенным строго воспрещено.

Неудивительно, что заключенные, оказавшись после “прогулки по городу” в поджидавшей их тюрьме или в лагере за колючей проволокой, вздыхали с облегчением.

* * *

В Воркуте, где с начала 50-х годов даже лагерная жизнь в большой степени стала подчиняться интересам производства, добычи угля, все реже произносилось вслух определение “изменник Родины”. Надзиратели, а вслед за ними и начальство, привыкли к подчиненным и безропотным труженикам-каторжанам.

Васька Штыков, или просто “Штык”, как его называли, высокий белобрысый посадчик лет двадцати пяти-тридцати, отличался веселым нравом, из-за чего

всякие недоразумения и приключения случались с ним на каждом шагу, То, идя на работу в строю, шутку отпустит, так что вся колонна заржет, то на вечернюю проверку с нар, торопясь, так лихо спрыгнет, что с перепугу надзиратель шарахнется в сторону. Не всегда безнаказанно проходили такие шутки. Случалось Василию не раз сидеть на голодном пайке в “кандее” — бараке усиленного режима, но веселости у парня не убывало.

В войну служил он в пехоте и как-то в разведке, раненый, попал в плен. Но там долго не задержался: подговорил еще двух товарищей и с ними убежал, ну здесь, известное дело, ему, “как организатору шпионской группы”, дали 15 лет каторги, его товарищам — по 10 лет, но уже просто заключения без каторжного клейма. Людей с аналогичными судьбами — бывших пленных — в лагерях хватало. Сноровистый ловкий Василий считался одним из лучших шахтеров-посадчиков. Товарищи уважали Ваську за труд и любили за беззлобный компанейский характер. Конечно, и у него при мысли о потерянной свободе на сердце скребли кошки, но тоску он гнал прочь, да так, что и у приятелей на душе становилось светлее. Казалось, быть Ваське прирожденным артистом, ан нет. Любил смотреть спектакли и концерты, но в художественной самодеятельности не участвовал.

В лагере отмечались некоторые традиционные праздники, вроде Первого мая. Выходных в эти дни обычно не давали, даже стремились встречать “красные даты” усиленными “трудовыми вахтами”. Но в зоне силами самих же каторжан-любителей ставили концерты и даже спектакли. Так, в описываемое время, само-

деятельность вздумала ставить к Первому мая “Сын полка” по пьесе Валентина Катаева. Но начальник режима категорически запретил: нельзя каторжникам надевать красноармейскую форму, еще, чего доброго, переодетые, побег устроят. Дело застопорилось. Решили поставить “Нашествие” Леонова: там можно обойтись без советской военной формы, одной германской. Еще со времени пребывания здесь осужденных пленных вермахта в лагерной каптерке оставалось порядочно серо-зеленых немецких кителей, брюк и даже шинелей.

Вообще для лагерной сцены существовало немало идеологических и режимных ограничений. Но патристические стихи К. Симонова не запрещались, в первую очередь “Жди меня”, и пользовались неизменным успехом, хотя вызывали многие неизбежные ассоциации. Успехом пользовались песни военных лет, ведь большинство каторжников или, как их было принято называть, каторжан, еще недавно носило красноармейскую форму и попало за проволоку, так сказать, транзитом — через немецкий плен. Героика войны была близка каждому. Где-то в глубине души таились понятия о гордости и достоинстве. Здесь не встречалось дезертиров. Этих советских людей амнистировали сразу же после окончания войны. А для других подозрение в трусости являлось оскорбительным.

Васька был не из робких, а потому и пошел в посадчики.

Однако зачеты рабочих дней у Васьки за мелкие провинности постоянно снимали, так что конец срока приближался черепашьими шагами.

Как-то зимним вечером при возвращении с шахты,

когда у ворот лагерной зоны вся смена мерзла в ожидании надзирателей для проведения обыска, а надзиратели не торопились покидать теплое помещение вахты, слышались обычные в таких случаях возгласы: “Сколько можно на холоде топтаться!?”, “Не с прогулки идем!”, “Не лето! Выходите поскорее шмонать!”, “Хватит издеваться!”.

Наконец вышли надзиратели. Обыскавший Ваську унюхал, что от того пахнет одеколоном. Не изо рта, а от телогрейки.

— Где взял?

— Что?

— Духи.

— Не находил я.

— Где флакон?

— Не было его. Не видел.

— А ну дыхни!

Но изо рта у Васьки спиртным не пахло.

Обыск уже заканчивался, когда на крыльце вахты появился кум, успевший, ввиду мороза, хватить стаканчик водки и, будучи в благодушном настроении, весело отозвался, услышав ропот заключенных за задержку с обыском: “Ничего. Морозец полезен. Чай, не у немца за пазухой”.

— А мы что, по своей вине к нему попали?

— Руки не надо было поднимать, сдаваться. — Бухнул кум и, довольный своим остроумием, скрылся в помещении вахты.

Каторжан впустили в зону. Но надзиратель, обыскивавший Ваську, доложил о запахе одеколона куму и тот, поблагодарив служаку за бдительность, заинтересовался: не какая-либо из вольнонаемных работниц на

шахте обратила внимание на молодого посадчика?.. Такие случаи бывали и карались самым жестоким образом. Оперуполномоченный понимал, что каторжник ни за что не назовет ему того, кто окропил его одеколоном. Но отказать себе в удовольствии подопрашивать нарушителя кум не мог.

К тому времени в Воркуте установилась своеобразное двоевластие. Комбинат “Воркутауголь” ведал производством, добычей угля, а Воркутлаг являлся поставщиком рабочей силы. Начальник шахты и начальник лагпункта, как и обслуга шахты и аппарат начальника лагеря, часто не ладили друг с другом, хотя при выполнении шахтой плана премии получали и те и другие. Но большая заинтересованность была все-таки у шахтного руководства. Поэтому оно дорожило хорошими рабочими, независимо от статей, по которым их осудили.

Кум знал, что Штыков на хорошем счету у шахтного руководства и, тем не менее, все же хотел показать свою власть.

Уже близилась вечерняя проверка, когда Штыкова привели в кабинет оперуполномоченного. Тот эти сутки дежурил по зоне и решил, чтобы не скучать, помучить посадчика.

— Садись. — Предложил кум.

— Спасибо. Я как-нибудь постою, а то вдруг усну, чего доброго: дело к отбою.

— Не уснешь. — Заверил оперуполномоченный. — Я тебе спать не дам. Садись.

Штыков сел.

— Письма от родственников получаешь? — Поинтересовался кум.

— Изредка. — Вздохнул Васька.

— Есть у тебя там, на воле, кто-нибудь, вроде невесты или жены, чтобы писать тебе?

“Спрашивает, будто не знает” — подумал Васька. Но вслух проговорил: “Нет, гражданин начальник. На фронт я ушел, можно сказать, мальчишкой. Семей не успел обзавестись.”

— И долго ты воевал на фронте?

— Полгода неполных. Так то ж был сорок первый. Тогда была такая заваруха...

— Что ты поторопился в плен податься? — Дополнил кум.

— Я в плен не “подавался”. Меня раненого захватили.

— Рук, что ли, не поднимал?

— Как сказать, — помрачнел Васька, как и все, не любивший вспоминать обидные минуты своего прошлого, — может, и поднял. Уже не помню. Давно это было.

— Поднял, поднял. — Поджимая губы, многозначительно утвердил кум. — Был такой грех.

“К чему он клонит?” — мучительно соображал Васька, которому не приходило в голову, что кум фактически вызвал его от нечего делать.

— Так вот, — продолжал кум, — о прошлом вспоминать не будем. А скажи мне лучше откровенно, я ведь и сам все знаю, но просто хочу тебя проверить: кто это тебя на шахте одеколоном душит?

“Так вот для чего ему все эти “подходы”, — подумал Васька и ответил с самым простодушным видом: — Нечто я знаю? Верно, в раздевалке мой бушлат оказался рядом с бушлатом какого вольного и набрался духу.

Кум засмеялся: “Я все знаю. Не хитри. Говори правду”.

— А я всю правду сказал, — ответил Васька.

— Смотри: посажу в карцер, пожалеешь.

— Гражданин начальник, воля ваша. Только этой ночью у нас работа по посадке лавы и я подведу бригаду.

“Ишь, куда гнет. — Подумал кум. — Знает, на что бить надо, на производство. Хитрый. Только с виду простак”. — Так рук не поднимал, говоришь? — Неожиданно для самого себя выпалил кум. — Не ври: поднимал. То-то же. Иначе бы тут не был. Иди!

Штыков поднялся со стула, нахлобучил на лоб шапку с каторжным номером и вышел.

— И чего ему дались эти руки? Поднимал или не поднимал? — Ломал голову Васька, возвращаясь в барак. — Что ему надо?

Он понимал, что ловко отделался от кума, что тот ничего доказать в отношении запаха одеколona не сможет. Но при чем тут руки?..

И тут вспомнилось ему, что, когда их запускали в зону вечером, кум тоже ляпнул: “Не надо было рук поднимать”.

Придя в барак, Василий рассказал о своем визите к оперуполномоченному. Товарищи тоже подивились: “При чем тут руки? И чего это они дались куму? Тоже судья нашелся. Сам, небось, всю войну “провоевал” в лагере, обедая заключенных, а тут вдруг вспомнил про “руки”?..” “Но ловко я его “одеколонным духом от вольных бушлатов в раздевалке” отшил?” — Подумал Васька, — “То-то ламповщица Анка посмеется”. И он уснул.

Как водится, перед праздником 1 мая строго проинструктировали охрану, конвой, предупредили о бдительности. Уже предпраздничные дни ознаменовались повальными обысками во всех бараках, на рабочих объектах и на лагерной вахте при возвращении бригад с работы.

О малейших нарушениях режима — изъятых у заключенных подобий карманных ножичков, огрызков химических карандашей, обломков лезвий для безопасных бритв или денег — немедленно докладывалось начальству.

Оперуполномоченный (офицер госбезопасности, поллагерному “кум”) восседал в своем кабинете, вызывая к себе “на беседу” кучу каторжан, чтобы не догадались, кто из них стукачи, а кто нет. И на этот день кум запланировал вызов нескольких, отдохавших после ночной смены, каторжан-шахтеров для “ознакомления с настроениями в зоне и на производстве”.

Известно, как спят горняки после работы. Посыльному оперуполномоченному пришлось изрядно потрудиться и выслушать кучи многоэтажных матов по своему и кумовскому адресу, поднимая с нар того или другого шахтера. Никто из них не торопился на свидание к начальству.

Кум терпеливо ждал, покуривая папиросу.

— Войдите!

Вошел Штыков, аккуратно закрыл за собой дверь, слегка поклонился. Его-то кум вовсе не вызывал. “Видать олух-посыльный перепутал” — Решил он. Но, раз уж пришел, надо “беседовать”, и широким жестом оперуполномоченный указал на стул перед своим столом.

Васька уверенно шагнул к нему, но не сел.

— Садись.— Приказал кум.

Глаза каторжника будто что пошарили на столе и усталились на кума.

— Садись! — Повелительно приказал тот.

Васька не двигался. Его наставленные на кума глаза, казалось, наливались кровью, темнели.

— Руки вверх! — вдруг резко выдохнул зловещим шепотом Штыков, стремительно выхватил из-за пазухи браунинг и наставил его на опешившего “опера”.

Тот только раскрыл рот и машинально поднял руки.

— Встать! — раздалась следующая отрывистая команда.

Ничего не соображая, растерянный офицер покорно поднялся со стула, мучительно пытаясь сообразить, как удалось зеку пронести в зону оружие: “Проклятые дежурные, на вахте прозевали”.

Между тем, дуло браунинга внушительно чернело примерно на расстоянии метра от лица офицера. Васька пристально смотрел ему в лицо.

— Пикнешь — убью. Понял?

Кум утвердительно хлопнул глазами.

— Так вот, — продолжал Васька, — ты говорил, что нам не надо было руки поднимать. Говорил?!

— Гм, э-э, ну. — Замямлил кум.

В это время за дверью послышалась какая-то возня. Кум было открыл рот, может быть, чтобы крикнуть. Васька предупредил его.

— Руки выше! — И кинул, не оборачиваясь.— Входите!

На пороге застыли посыльный с еще одним зеком и съжились от удивления: кум стоял перед Штыковым, держа руки вверх.

— Ты говорил, что нам не надо было руки поднимать, — повторил Васька. — А сам? Нам в лицо автоматы наставляли, а не деревяшки.

Васька швырнул на стол пистолет, упавший с легким стуком, не оставившим сомнений в его деревянном происхождении.

Кум, опустив руки, устался на бутафорское оружие. Кривая усмешка появилась на его губах.

Васька резко по-военному повернулся и вышел, хлопнув дверью.

Ему ничего не было. Посыльный и бывший с ним зек, конечно, “раззвонили” по зоне о происшествии, хотя дали слово куму молчать.

А кум, понемногу оправившийся от испуга, “по нездоровью” вскоре ушел домой, а там запил в честь Дня Победы.

ИГРА СУДЬБЫ

(Легенда об Н.К. Печковском)

Есть нечто воркующее, светлое и прозрачное в самом звучании фамилии “Гурилев”. А когда вслед за ней выстраивается фраза во главе с ласковым словом “колокольчик”, невольно к сердцу подкрадывается щемящая грусть.

“Однозвучно гремит колокольчик

И дорога пылится слегка...”

Голос, подкрепленный чуть слышным аккомпанементом пианино, вводил слушателей из угрюмого приполярья в среднерусские степные дали. Где-то рядом колосилась рожь, а на горизонте темнел лес, как на картине Шишкина, могучий и приветливый.

Грусть из песни переливалась в сердца слушателей.
“И припомнил я ночи другие,
И родные поля и леса...”

В зале вдруг стало уютнее. Застыла тишина. Голос летел над головами слушателей и внезапно, будто подавленно, вывел с болью: “А дорога...” И с отчаянием, надрывом прозвучало:

“...Предо мной далека, далека-а-а-а-а!”

В бесконечность уносилось это безнадежное “далека-а”.

Певец раньше, “в другой жизни”, редко и совсем не так исполнял эту песню. А теперь... Вот через усилие тяжелого осознания безысходности упали в зал повторенные последние слова: “Предо мной далека, далека...”

Звонкими каплями проплакали заключительные аккорды. Потрясенный зал несколько секунд молчал и потом взорвался неистовыми аплодисментами.

Певец стоял прямо, слегка опустив голову в едва заметном поклоне. А зал гремел. Но вот сквозь произвольно из сотен мужских глоток вырвавшиеся “браво” и “бис”, все явственнее и требовательнее стало пробиваться: “Гер-ма-на! Гер-ма-на!”...

Точно так неистовствовали залы московского Большого и ленинградского Мариинского театров, когда певец выступал на их сценах. Сотни поклонниц и поклонников его искусства с цветами толпились зимой и летом у служебного выхода, чтобы еще раз выкрикнуть слова благодарности и восхищения и взглянуть на своего кумира. Он заслужил это поклонение.

Народный артист Российской Федерации, первый лауреат Сталинской премии, любимец Ленинграда, об-

щепризнанный лучший исполнитель партий Германа и Отелло в операх Чайковского и Верди, изумительный лирико-драматический тенор, незабываемый Манрико в “Трубадуре”, Хозе в “Кармене”, Вертер в опере Массне.

И вот он стоял здесь, Николай Константинович Печковский, стоял на этой самодеятельной сцене в самом большом бараке, служившем одновременно также столовой в приполярном поселке Инта.

В “зале” были одни мужчины. Только в первом ряду на скамейках возле своих мужей-начальников лагеря сидели их жены. Вместе с заключенными они смотрели концерт, умело выстроенный Печковским, где чередовались пользовавшиеся неизменным успехом танцы, конечно, без женщин, с небольшими драматическими сценками и отдельными номерами певцов и иллюзионистов. Но, благожелательно встречая всех исполнителей, все ждали только его, Печковского.

Высокий, плотный, с крупными чертами волевого лица, на котором пудра и грим скрыли преждевременные морщины, он казался лет на десять-пятнадцать моложе своих пятидесяти.

“...а дорога...

далека,.. далека-а-а! “

Десять лет заключения с последующим поражением в правах на пять лет... Этапы... Грязь и лишения... Но он никому не кланялся, ни перед кем не заискивал. Ни здесь, ни там, на земле, захваченной врагом.

Тогда вечером за ним в Сиверскую, где он проводил отпуск, главный администратор театра оперы и балета имени Кирова (бывшего Мариинского) ухитрился прислать грузовик. Но артист отказался эвакуиро-

ваться: он не мог оставить тяжело больную мать. Везти ее в таком состоянии было нельзя. Он остался.

Измученные матросы на грузовике ночью вернулись в Ленинград и вместо оперного театра приехали в Театральный институт на Моховую улицу, где с руганью набросились на декана Серебрякова, не имевшего никакого отношения к отправке огромного грузовика.

Печковский оказался по ту сторону фронта в ста пятидесяти километрах от Ленинграда. Там его и нашли немцы. Никому из них он не представлялся. Он и без того был слишком известен. Ему предлагали вступить в труппы ряда немецких театров. Он отказался. Предложили организовать свой театр, свою труппу. Он отказался: с кем?.. Он привык выступать с лучшими артистами страны в сопровождении лучших оркестров. Под предлогом того, что не владеет немецким, он отказался от участия даже в германских концертных бригадах КДФ (“Крафт дурьх фройде” — “Сила в радости”), обслуживавших части вермахта. Он выходил на клубные сцены Сиверской, Гатчины, Пскова, всегда подтянутый, в черном концертном фраке с орденом Ленина на лацкане. Он носил его и на пиджаке после концерта, везде, где бы не показывался. Он пел под аккомпанемент фортепиано, за которым сидел неплохой пианист, имевший несчастье, как и Николай Константинович, не успеть эвакуироваться при стремительном наступлении немцев.

Заслуженный артист Сергей Павлович Марков передавал мне рассказ о том, что партизаны получили задание убить певца. Один из них как-то после концерта уже очутился лицом к лицу с Печковским, но, увидев на груди его орден, оставил жестокий замысел.

Его именем пытались спекулировать, но ни разу ни в одной газете не позволил он себе слов хулы против Родины. Он верил в ее победу.

Немцы вынуждены были считаться с “прихотями его строптивного характера”. Когда его однажды подвезли к зданию клуба и он увидел на стене рядом с объявлением о концерте надпись: “Вход только для немцев”, он демонстративно приказал повернуть сани, уехал и сорвал концерт.

Его повезли в Германию, Австрию, где он выступил с огромным успехом перед русскими, проживавшими там давно, но не забывавшими родной язык и культуру. Печковского возили по разным городам, знакомя с оперными театрами райха. Делясь впечатлениями о поездке, певец в интервью в газете “Северное слово” (Гатчина) высоко оценил спектакли, но подчеркнул, что они все же не могут сравниться с постановками “незабвенного Мариинского театра”.

Как-то мелькнула в газете не подписанная им статья, сообщавшая, будто однажды, тайком слушая московское радио, Николай Константинович услышал сообщение о казни знаменитого русского певца на оккупированной территории. Не успел Печковский подумать — кого бы это могли повесить, — как голос диктора печально сообщил: “Так героически погиб знаменитый русский артист Николай Константинович Печковский”. Не знаю, имело ли место что-либо подобное.

За выступления, их посещали все — и русские, и немцы — платили не деньгами (какую ценность они имели на оккупированной территории?..), а продуктами — мешками картофеля, сахаром, мукой, консервами,

маргарином и вином. Вокруг певца кормилась куча нуждающихся.

Держался он независимо, а с немцами подчас очень высокомерно: знал — не посмеют тронуть его, единственного выдающегося советского артиста, оказавшегося в их власти. Петь приходилось и в Риге, и в районных городах и поселках, где сцены были не лучше этой, лагерной. Но публика везде встречала его восторженно.

Вот и здесь, в приполярье, если б не он, что бы слышали эти заключенные — бывшие колхозники, бывшие военнопленные красноармейцы, ставшие поневоле северными шахтерами и строителями, а заодно и их охранники? Разве они бы слышали Масснэ, Верди, Бизе, Балакирева, Рахманинова, Аренского, Гречанинова?..

Еще до войны он выступал в партиях Отелло, Радомеса (“Аида”), Манрико (“Трубадур”), Хозе (“Кармен”), Вертера...И здесь он исполнял арию последнего: “О не буди меня, дыхание весны”.

И все теперь наполнялось уже иным содержанием, будило другие мысли в нем самом, вызывало новые неожиданные ассоциации и в его слушателях.

Поговаривали, что еще до окончания войны по специальному заданию партизаны похитили Печковского и переправили через фронт, чтобы здесь, на родной земле, сорвать с него орден, лишить всех почетных званий и с клеймом “врага народа” за пособничество оккупантам засудить на десять лет каторги.

Нет. Когда Красная Армия заняла Ригу, артист сам пришел в комендатуру и назвал свое имя и звания. Его тут же арестовали и переправили в Москву на Боль-

шую Лубянку. Его осудили на десять лет заключения с последующим поражением в правах и ограничениями в выборе места жительства.

... Утопающий в снегу лагпункт в приполярном поселке Инте. Здесь он числился дневальным, уборщиком барака (на общие работы начальство на свой страх и риск его посылать не решалось). За то, что его не выгоняют на мороз долбить землю для котлованов и не спускают в шахту, он руководит лагерной художественной самодеятельностью и иногда, по настоящему требованию начальства, выступает с ней на одних подмостках.

... А там, “на воле”, его не забыли: бывшие товарищи по сцене, задыхавшиеся от зависти к его успехам, клеймят его, а сами стараются подражать ему, великому певцу и актеру, ученику Станиславского и Немировича-Данченко, руководителю филиала Академического театра оперы и балета имени Кирова в Ленинграде.

—... Германа! Германа! — Скандирует зал. Так скандировали в Ленинграде, Москве, Риге на концертах.

Он знает: требуют не “Прости, небесное созданье”, а заключительную арию.

Не удаляясь со сцены, на глазах у грохочущего зала он подходит к пианисту, имевшему по счастливой случайности такой же, как у певца, сравнительно небольшой срок — всего десять лет.

Зал настроенно затихает. А видят: лицо артиста преобразается. В нем появляется дикая одержимость, смесь злорадства и еле сдерживаемого долгожданного торжества.

Пристальный взгляд в зал.

“Что наша жизнь? — И резко брошенный насмешливый ответ — Игра!” С горечью констатируя бессилие нравственных норм, — “Добро и зло — одни мечты, труд, честность — сказки для бабья” — артист презрительно роняет эти слова и — точное попадание в зал:

“Кто прав? Кто счастлив здесь, друзья? “ — И далее неизбежное — ”Сегодня — ты, а завтра — я,” — полновесное личное местоимение утверждает силу торжествующего игрока. При этом “завтра — я” невольно холодок пробежал по спинам сидящих в первом ряду.

Магия великого искусства гипнотизировала зал. Ему бросал артист заключительную насмешку: “Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу!”

Да, здесь собрались одни неудачники, имевшие право проклинать свои судьбы. Нельзя сказать, чтоб и начальство могло чувствовать себя счастливым в постоянном окружении несчастных, в большинстве незаслуженно наказанных людей, ставших жертвами государственного произвола и беспринципной трусливой юстиции.

Весь зал, стоя, аплодировал и не успокоился, пока певец еще раз не исполнил бессмертную арию.

Ходили слухи, что скоро певца должны этапировать в Заполярье или в Сибирь, где ему будет не лучше, но остальным еще горше без него.

Когда концерт кончился, на сцену тяжело поднялся пожилой майор, начальник лагеря, и “от имени и по поручению администрации и зрителей” выразил благодарность участникам самодеятельности и ее руководителю. Затем раздалась команда “по баракам” и зал опустел.

— Чего сидишь? Скидай этот свой фрак и уходи! — Прорычал один из надзирателей, пройдя в комнатку за кулисами, где, погруженный в свои мысли, не спеша разгружался Печковский.

— А это откуда у тебя? — Ткнул пальцем надзиратель в открытую коробку с набором из туалетного мыла и одеколona, явно переданную кем-то “с воли”.

Артист вместо ответа открыл флакончик, вылил его содержимое себе на руки, вытер их маленьким полотенцем для грима, а остаток из флакона плеснул на шинель надзирателя: “Успокоился?..”

Так же размеренно Николай Константинович снял фрак, аккуратно повесил на плечики, убрал в стенной шкаф, надел серый бушлат с маленьким номером: “Пошли...”

Надзиратель не стал скандалить: что с него спросишь, с артиста? — и только втягивал широко открывшимися ноздрями запах одеколona.

— Выходи. — Добавил он, бурча себе под нос что-то про “проклятых начальничьих жен”, которые “мокнул” от одного голоса “врага народа...”

“Что наша жизнь?..”

После освобождения в конце 1954 года, а затем реабилитации Печковский не вернулся на профессиональную оперную сцену. Слишком плотно пригнали к его имени клеймо “изменника Родины”. С 1954 по 1956 год он служил в Омской областной филармонии. Выступал в районах Сибири. Там женился. В 1956 году ему разрешили вернуться в Ленинград. Его реабилитировали полностью. Ему вернули орден, квартиру и имущество.

В академическом театре оперы и балета, страдавшем

из-за отсутствия творческого руководителя, нашлась группа артистов, поднявших вопрос о приглашении Николая Константиновича на должность художественного руководителя. Но партбюро, в котором сидели певцы, завидовавшие лаврам Печковского, с возмущением отвергли предложение: пусть мы будем плохими, но с незамазанной репутацией(???)...

И пошел великий певец и артист искать работу. Наконец его пристроили в небольшом доме культуры имени Цюрупы на набережной Мойки. Там Печковский работал за гроши. Он показал себя замечательным организатором, прекрасным театральным педагогом и режиссером. Он создал в доме культуры интересный самодеятельный оперный коллектив.

Артисты академического театра постоянно бегали посмотреть на постановки Печковского; охали, ахали, восхищались, злопыхательствовали. Но “в контакты” с бывшим “изменником Родины” вступать не решались. А в прессе упоминать имя опального певца избегали. Замалчивали. Находились иные, утверждавшие в кулуарах, что будь они на месте певца в оккупации, они бы вели себя куда достойнее. Ой ли?.. Неужели бы так же с вызовом носили всегда на груди высший советский орден, сорванный с артиста лишь в советском застенке?... А ему даже гласно отпраздновать свое семидесятилетие не дали.

В 1996 году исполнилось сто лет со дня рождения выдающегося артиста-певца, чье имя незаслуженно предавалось забвению. Тридцать лет миновало после его смерти. Но легенды о нем передаются от одного поколения ценителей искусства к другому.

Много раз с первоклассными “титuladoванными” ис-

полнителями я смотрел и слушал “Пиковую даму” Чайковского. Но ни один в партии Германа даже не мог приблизиться, как бы ни подражал (а таких немало поныне), к Печковскому. Его знаменитое “Что наша жизнь? Игра!” звучало не покорностью, как у известных до него Смирнова или Ханаева, достаточно известных мастеров, а дерзким вызовом слепой судьбе, так безжалостно уничтожившей великого артиста.

БЛАГОДАТЬ!..

Повезло! Неужели не снится?
За одиннадцать лет первый раз
Я лежу на кровати, в больнице,
Подо мной не доска, а матрац,
И набита подушка соломой,
И белеет, как снег, простыня.
Никогда! Никогда! Даже дома,
Как сейчас, не блаженствовал я.
И любое грядущее меркнет
Перед тем, что меня еще ждет:
Не разбудят до самой проверки,
Не погонят пинком на развод;
Не придется под ругань конвоя
Вагонетку толкать на отвал...
Насморк,.. кашель, ангина — пустое!
Отдохну, только б жар не спадал!..

ЧТО ЖЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ?

(Гады в панике)

Смерть Сталина, может быть, раньше всего стала ощущаться в местах заключения. Уже то, что сразу после смерти “гения человечества” обращение ЦК к народу зачитывалось по всем лагпунктам, являлось каким-то знаменем начала оттепели. Правда, ее “особые приметы” порой удивляли. Наиболее болезненно переживали каторжники известный указ об амнистии, выпущенный вскоре после смерти Сталина. По этому указу подлежали освобождению только “советские люди” — вору, хулиганы, убийцы, грабители. Из “политических” указ касался только тех, кто был осужден на срок до пяти лет. А таких практически не было. Не так вздохнул во время доклада об успехах колхозного строя - смотришь, получил срок от пяти до восьми лет, а то и больше. Для пятьдесят восьмой статьи этот, как его называли, “бериевский указ” звучал насмешкой. В результате его тысячи уголовных преступников, ничего не делавших во время заключения, сидевших на шее честных работяг, получили свободу. Другое дело, что их вскоре стали поспешно вылавливать: ни на вокзалах Москвы, ни в других городах проходу не стало от воров и бандитов. Но беда в том, что заключенные по пятьдесят восьмой статье “враги народа”, вытянувшие на своих плечах все великие северные стройки, добывавшие уголь, строившие дома, железные и шоссейные дороги, — все они оказались “за бортом” указа об амнистии.

И терпение лопнуло. Началось невиданное — забастовки. Они в разных лагерях проходили по-разному.

На двадцать пятой шахте Воркутлага, где тогда довелось быть мне, забастовки не объявлялось. Просто шахта изо дня в день выполняла план не больше, чем на 20-25 процентов. Приезжали комиссии, спускались в шахту. Видят: работа кипит, все в поту, а уголь идет еле-еле. Шахта — дело темное, недаром говорится. Тут можно столько причин найти для объяснения любого невыполнения плана, что сам черт не разберет.

Ранее сажали в изолятор, если у кого не оказывалось на спине или другом месте латки с номером. А тут вдруг поступил приказ снять всем номера и в изолятор начали сажать тех, кто вовремя не снял их.

Стали поговаривать, что могут разрешить свидания с родными, доползли и другие, обнадеживающие слухи, подчас весьма противоречивые, даже фантастические. Но главное: в воздухе запахло надеждой на свободу.

Чувствовалось, что лагерное начальство не уверено в завтрашнем дне, что оно тревожится: где же еще найти такую работу, чтобы ты не работал, чтоб работали на тебя и вопреки тебе, а ты получал награды?

А ведь определение “начальник” являлось почти профессией. Меня еще на двадцать шестой шахте как-то поразил один разговор. Я тогда работал в бане водоносом, а зимой, что еще тяжелее, снегоносом: надо было растопить снега, чтобы хватило и на две с половиной тысячи заключенных, и на начальство, мывшееся со своими семьями в той же бане. А уж этой последней категории нельзя было сделать нормой одну шайку воды, вольнонаемные плескались и тратили воды, сколько их душе угодно. А мы с Лаудансом, вторым водоносом, только глядели и с болью подсчитывали в

уме, сколько еще сотен или тысяч снежных глыб нам придется нарезать, подвозить в санях и через специальную деревянную трубу в крыше бани опускать в огромный чан.

И вот как-то в этой бане мылись дети начальника ОЛПа. Обычные школьники, старший учился уже в десятом классе. Его я и спросил, радуясь возможности хоть несколькими словами перекинуться с вольным человеком, кем он собирается стать после окончания школы.

Ответ ошеломил меня: “Начальником”.

— Но это же не профессия, — скромно заметил я.

— А папа?

Разговор закончился. Полуграмотный отец — лейтенант — как и ему подобные, жил без всякого образования на одних служебных инструкциях. Так уж сыну сам Бог велел начальствовать.

Когда рушилась система лагерей, тьма охранников, уверенных в том, что они государству необходимы, тьма надзирателей, начальников разных дурацких служб становилась ненужной. Они оказывались без службы, без профессии. Перспектива не из заманчивых. Естественно, среди них тоже поселились тревожные настроения. Мы это почувствовали.

“Гады в панике” — точно определил кто-то их состояние.

Гролом среди ясного неба вскоре прозвучало известие о ложности известного “дела врачей”, о лишении ордена Ленина доносчицы, явно действовавшей по наущению провокаторов службы безопасности.

В это обвинение, когда о нем завопили газеты, в лагере никто не верил. Лагерь был достаточно интерна-

ционально воспитан, а уж провокации госбезопасности здесь были всем известны. Поэтому в виновность врачей, якобы устроивших заговор для устранения руководителей партии и правительства, здесь никто не поверил. Но... лагерное начальство обязано было откликнуться на разворачивавшуюся по стране кампанию травли “космополитов” и их пособников. Поэтому в лагере из obsługi всех евреев отправили на общие работы (к счастью, подлежащих этому в нашем лагпункте оказалось немного, а зубного техника Сережу Бухштабера заменить было просто некем: кто будет начальству и их женам вставлять зубы?) Конечно, коснулось это старшего культорга, убежденного коммуниста Ефима Абрамовича Рисина, человека редчайшей порядочности и ума, а также меня.

Но чуть только объявили о ложности дела врачей, Ефима и меня опять восстановили на работе в культурно-воспитательной части, где он являлся старшим культоргом (он не был в плену) и заведующим библиотекой, а я — библиотекарем и художественным руководителем самодеятельности.

Тут разнесся слух, что создают Центральную культбригаду из артистов.

Слух подтвердился. По конкурсному просмотру из нашего ОЛПа взяли в культбригаду скрипача Артура Дреслера, моего друга, Николая Смокина, скромного бухгалтера, и меня. Сперва отвезли в Воркуту их, меня побоялись брать: двадцать лет каторги через высшую меру наказания... Но затем, отчасти, возможно, благодаря Артуру, которого я когда-то постарался избавить через Рисина от работы в шахте (зачем она скрипачу?), на меня пришел в ОЛП отдельный наряд о том, чтобы

я прибыл в Воркуту, в лагпункт, где тогда базировалась начинавшая собираться концертная культбригада.

Не скрою, конечно, как я обрадовался. Сбывалась мечта — работа на сцене! Мой друг столяр Ваня наскоро сколотил мне деревянный чемодан, доктор Антон Викторович Лесничий подарил на память единственную имевшуюся у него немедицинскую книгу (я ее и ныне храню). Я обнялся с Ефимом Рисиним, с Петей Клименко, Сергеем Бухштабером, Александром Владимировичем Баком, Ваней Кислициным, с друзьями-шахтерами и, взяв гитару и чемодан, весьма легкий, пошел к вахте.

Там уже был начальник ОЛПа подполковник Фролов, некогда, говорят, начинавший службу простым милиционером в Ленинграде.

— Что ж это происходит, — замямлил подполковник, — прислали наряд на вас, а не указали, как доставить? Что же это происходит, Клейн, вы же еврей, значит, умный человек (необоснованное народное поверье), должны понимать. Я не понимаю, что происходит? Так как вас отправлять в город, с конвоем или без?

— Не знаю, гражданин начальник. — Пожал я плечами. — Вам виднее.

— Как виднее? Вы же, повторяю, еврей, умный человек. — Как вы считаете?

Я вновь пожал плечами.

— Что же вы молчите? Знаете, я вам все-таки, на всякий случай, дам сопровождающего.

И дал. Провожатый оказался симпатичным солдатиком из свежего пополнения. Он всю дорогу нес че-

модан, считая, что артисту это не положено, и благополучно доставил меня в город, в лагпункт, где собиралась культбригада.

Кстати, о еврейском уме. На ту же двадцать пятую шахту назначили начальником культурно-воспитательной части вместо окончательно спившегося майора, отличного человека, фронтовика, нового начальника, старшего лейтенанта. Фамилия у него была русская, но это был стопроцентный еврей, да еще сопливый. Кроме того, он оказался непроходимым дураком.

Шахтеры мне говорили: “Сашка, а ведь этот твой начальник — жид, ей-Богу”.

— Нет, — уверенно отвечал я, — не может быть. Глупее себя я еврея не встречал, а этот еще глупее”.

И прислали же этого дурака в то время, когда “гады были в панике” и не знали “что это происходит?...”

Шла весна пятьдесят четвертого года. Кончался май.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОДАРОК

Мы познакомились в конце пятьдесят четвертого года, когда режим уже значительно ослабел. Артисты Центральной культбригады Воркутлага получили пропуска, и общее отношение к заключенным по пятьдесят восьмой статье изменилось к лучшему.

Только что поступивший в зону, где базировалась культбригада, был симпатичным молодым человеком лет двадцати пяти, чем-то напоминавшим французский типаж, как мы его представляли по иллюстрациям к “Трем мушкетерам”: высокий, стройный шатен с маленькими усиками на узком породистом лице.

Устроили его к нам аккордеонистом. Он отлично владел инструментом. Несмотря на красивую внешность, сперва заслужившую внимание артисток, он вскоре оказался немного в стороне от них, чему способствовали его непрерывные при- или, точнее, злоключения.

Ему постоянно не везло. То попадетя в проходной при попытке пронести в зону вино, то опоздает к отбою и его начинают искать, то его “застукают” в ресторане, куда вход заключенным, даже имевшим пропуска, строгойше воспрещен, и так далее.

Ласково прозванный у нас “Мотиком”, Володя, однако, был всеобщим любимцем за свою незлобивую, отнюдь не лагерную натуру.

Срок у него был предельный — двадцать пять лет, а статью, по которой он получил “полную катушку”, я не запомнил. “Попал” “Мотик” сравнительно недавно, году в сорок девятом. Когда мы спрашивали, за что он получил срок, Володя рассказывал почти анекдотическую историю.

Сын видного ученого, генерал-майора медицинской службы, Володя чуть не с отрочества стал завсегда-ем лучших ленинградских ресторанов. У отца денег куры не клевали и мать щедро снабжала единственного сына, чтоб радовался, пока молод... Году в 1948 отец умер. Бюджет Володи резко сократился. А жить при-вык юноша широко...

Весь сорок девятый год проходил в стране под знаком встречи знаменательного юбилея: в декабре “отцу народов и гению человечества” исполнялось семьдесят лет. Повсеместно развернулось соревнование в

честь великого юбиляра и его великого юбилея. Славословие перешло все границы. Вспомним, что в то же время разворачивалась кампания по борьбе с “безродными космополитами”, “генетиками вейсманистами-морганистами”, издавались грозные Постановления ЦК КПСС по идеологическим вопросам, о репертуаре драматических театров, об операх, фильмах; разматывались клубки печально известного “ленинградского дела”... Одним словом, интеллигенция находилась в достаточно запуганном состоянии и пыталась заглушить страх истерично-восторженными восхвалениями вождя...

Поздно вечером, часов около десяти, если не позже, в квартире академика К. раздался звонок.

Безукоризненно одетый симпатичный молодой человек вынул из внутреннего кармана красную книжечку, назвал себя представителем Ленинградского горисполкома и, извинившись за поздний визит, попросил разрешения зайти на несколько минут.

— Вы знаете, — войдя, сказал он академику, — что вся страна готовит достойную встречу семидесятилетия любимого всеми нами Иосифа Виссарионовича...

— Да, да, конечно! — искренне обрадовался академик, опасавшийся, что визит связан с другими целями.

— Так вот, — продолжал вошедший, — весь народ готовит подарки тому, кто утвердил завоевания Великого Октября, спас мир от фашизма, достойно продолжил и продолжает, и развивает дело Ленина, обеспечивая счастливое будущее нашим детям и внукам.

— Да, да, да, — воодушевленно закивал головой бездетный академик, — мы все перед ним в долгу.

— Вот именно. — Подхватил мысль представитель исполкома. — Вы правы: мы все перед ним в долгу. И потому инициативная группа ленинградских ученых, чтобы не остаться в стороне от всенародного дела, сейчас собирает деньги на приобретение достойного подарка вождю. Вот, пожалуйста.

Представитель исполкома достал из папки большой лист бумаги, на котором уже значились фамилии и — против внесенных денежных сумм — подписи ряда известных деятелей науки.

— Деньги они все вносят наличными. — Тактично намекнул ответственный представитель.

— Конечно, конечно, — заторопился ученый и, быстро глянув на цифру против фамилии предыдущего в списке, вышел в другую комнату. Через минуту он вернулся с толстой пачкой банкнот. — Здесь пять тысяч. Можете пересчитать.

— Что вы! Я безгранично верю, — и посетитель поднялся со стула. — Да, пожалуйста, распишитесь.

— Не хочу отстать от коллег. — Победоносно заключил академик, ставя подпись.

Представитель горисполкома вежливо откланялся и ушел.

— Слава Богу, пронесло. — Перекрестился академик на угол без икон. — А я уже испугался.

— Какой приятный молодой человек. — Заметила жена, через открытую дверь наблюдавшая за этой сценой из другой комнаты.

... Не желая уступать друг другу в щедрости и наперебой подчеркивая свои верноподданнические чувства, ученые вносили лепту “во всенародное дело”. Сколько времени так продолжалось, сказать трудно.

Но как-то случился конфуз: у очередного профессора, к которому пожаловал “представитель горисполкома”, денег дома не оказалось. Накануне профессор сдал их в сберкассу и в наличии имел сущий пустяк: рублей четыреста-пятьсот.

Профессор испугался. Он не хотел выглядеть хуже своих коллег, каждый из которых внес не меньше трех-семи тысяч рублей (по тому времени очень солидные суммы).

— Уважаемый товарищ, — залопотал профессор, волнуясь, — пожалуйста, не подумайте, ради Бога, что я скуплюсь на такое дело... Честное слово... вот у меня здесь всего четыреста рублей... Завтра, прошу вас, зайдите ко мне, я сниму с книжки... Я... не отстану от коллег... Очень прошу вас: зайдите завтра. А пока — вот. — И он протянул нетолстую пачку червонцев.

“Представитель Ленгорисполкома” поджал губы, сделал какое-то странное лицо, взял деньги и, молча поклонившись, ушел.

Профессор плохо спал всю ночь. Едва на следующее утро открылась сберкасса — он уже стоял у окошка. Снял несколько тысяч рублей, вернулся домой и стал ждать.

Вечером представитель горисполкома не пришел...

Миновала еще одна бессонная ночь на валерьяновых каплях и валидоле. Профессор и его старушка-жена вздрагивали при каждом шуме на лестничной площадке, ожидая посещения уже не мирного посланца горисполкома, а людей с улицы Шпалерной (тюрьма, управление госбезопасности Ленинграда).

На третий день профессор не выдержал и начал зво-

нить в горисполком: “Пришлите, пожалуйста, вашего представителя по сбору средств на подарки товарищу Сталину к юбилею”.

Трубку повесили, не дослушав. Профессор позвонил снова. Опять, видимо, его приняли не всерьез и положили трубку.

— Послушай, — сказала жена, — назовись. Тогда будут с тобой разговаривать. А так — разве они разговаривают?..

Профессор опять снял трубку: “Алло! говорит профессор (он назвал себя). Прошу выслушать меня внимательно. Третьего дня ко мне зашел симпатичный представитель Ленгорисполкома...” — Профессор описал происшествие, добавив: “Деньги на подарок я приготовил. Пожалуйста, пришлите вашего представителя”.

На этот раз его выслушали. За квартирами ученых установили наблюдение и через некоторое время, когда у “Мотика” (вы, конечно, догадались, что “представителем” был он) иссякли в ресторанных увеселениях деньги, при посещении одной из очередных жертв Володю задержали.

Накануне юбилея вождя “Мотику” дали двадцать пять лет.

Зная привычку Володи прихвастнуть, мы ему не верили. Но все оказалось правдой. Об этом без подробностей и без имени того, на подарки кому собирал “Мотик”, года через два после знакомства с Володией я прочел в “Литературной газете” в фельетоне Реста и Ланского “Потомки Остапа Бендера”.

“Мотик” рассказывал о своем деле всегда весело, изображая в лицах своих ученых-“клиентов”, облегчен-

но вздыхавших, когда “представитель” удалялся от них с забранными деньгами.

— Так я собрал в короткое время около ста шестидесяти восьми тысяч. — С улыбкой заключал “Мотик”. — И ведь каждый раз давал себе слово, что это последний. Дурак!

ИСПОРЧЕННЫЙ КОНЦЕРТ

Сцены в каторжных зонах Воркутлага находились в столовых.

Перед сценой первые два-три ряда занимало начальство, далее на скамейках, а к концу зала и на столах, нередко даже поставленных друг на друга, под самый потолок, жались остальные зрители.

Каждый концерт или спектакль своих самодеятельных артистов (других в зоны не пускали) вызывал живой интерес. Вольные и заключенные потом не один день вспоминали, делились впечатлениями, спорили, обсуждали между собой запомнившиеся выступления.

К 1953 году девяносто пять процентов каторжного контингента шахты № 25 “разменяло” от семи до девяти-десяти лет своих сказочных сроков. Заключенные уже приноровились к несамостоятельному, поднадзорному и подконвойному распорядку жизни. По утрам будили, кое-как кормили, кое-как одевали и обували, на работу и с работы водили под конвоем, спать укладывали по сигналу. Чувства притупились. Интересы сузились; уносились в мир приукрашенной свободы, где ходят, не держа руки за спиной, без конвоя с собаками, одеваются по-разному, не носят номеров на одеж-

122

де, где обитают женщины. С последними многие каторжники по-молодости не успели до заключения познать близость.

Лагерь двадцать пятой шахты к описываемому времени стал спокойным. Здесь пятьдесят восьмая статья — “измена Родине” — еще году в пятидесятом прижала и загнала в подполье блатных и сук и установила порядок без явных “лап” (взяток), воровства, избиваний и убийств. Укреплению порядка способствовало довольно весомое количество среди каторжников жителей Прибалтики, особо нетерпимых ко всякого рода преступлениям. Ругани, конечно, хватало. Не зря говорилось, что Воркута стоит на трех китах — мат, блат и туфта. Но справедливость внутри зоны соблюдалась все той же “пятьдесят восьмой”.

В январе-феврале пятьдесят третьего горняки-каторжники двадцать пятой добились крупных успехов в угледобыче и это требовалось отметить по намеченному плану 4 марта концертом (обычный метод). Заранее велась большая подготовка. И вдруг в газетах появилось сообщение о болезни И. В. Сталина. Отнеслись к этому заключенные по-разному. Одни безучастно, другие с опаской; как бы хуже не стало; третьи со страхом: не дай Бог умрет наш защитник. Большинство же считало, что сводки о здоровье вождя — очередная провокация, “проверка на верность”.

Только врач Антон Викторович Лесничий, интеллигентнейший человек, помимо медицинского института проучившийся в консерватории и получивший свои пятнадцать лет каторги за какое-то неосторожное выражение, прочитав сводку о здоровье вождя, утверждал, вопреки мнению вольнонаемного началь-

ника медсанчасти, что, если не врут в газете и у Сталина действительно “чейнстоксово дыхание”, значит, шансов выжить нет.

— Впрочем, хуже не будет. — Считал Антон Викторович.

Между тем, наступил вечер 4 марта. Помещение столовой после ужина быстро заполнилось шахтерами, торопившимися занять места получше. Все ждали обещанного концерта. Объявления о нем еще за три-четыре дня появились на шахте и в зоне.

Концерт должен был быть жизнерадостным, жизнеутверждающим, полным здорового юмора, шуток, веселых сценок и реприз концеранса, вдохновляющих на новые трудовые подвиги. Программа была хорошо продумана и отрепетирована. Она представляла собой своеобразное театрализованное обозрение, где каждая сценка, каждая реприза, даже критикующие “отдельные недостатки” быта и производства, подводили к определенному инструментальному, вокальному, четцко-му или танцевальному номеру.

Участников еще вчера освободили от работы. Они весь день репетировали и уже недели взятые в КВЧ костюмы для выступления.

И вдруг — болезнь вождя. И без того трусливый начальник КВЧ с перепугу решил, на всякий случай, отменить концерт. Но на двадцать пятую уже съехалось начальство других шахт и лагпунктов, а также представители из города, из управления Воркутлага и комбината Воркутауголь. Кроме того, шахтеры, уже занявшие места в зале, громко роптали.

Начальство, местное и приезжее, срочно собралось на совещание: как быть? Нельзя же веселиться в Вор-

куте, в то время как в Москве болеет “отец народов и гений человечества”.

Не придя к единому мнению, запросили самое высокое начальство в Воркуте. Оттуда не сразу ответили: тоже посоветовались и, наконец, высказались: концерт, раз для него все готово, а перед ним на шахте должны вручить награды за победы в трудовом соревновании, не отменять, но исключить из него все веселые номера любого жанра.

Здесь уместно напомнить, что из произведений, исполняемых на лагерных сценах, запрещались такие, где назывались даже хвалебно имена Ленина, Сталина и других вождей мирового пролетариата, запрещалась критика действий вольнонаемных инженеров и рабочих, какого-либо начальства, включая самого последнего рядового охранника. Запрещались упоминания о тюрьме или заключении, как, например, у Пушкина — “Сижу за решеткой в темнице сырой” или строки “В глуши, во мраке заточенья тянулись долго дни мои”; запрещались призывы к пьянству и разврату, как опять у того же Пушкина в “Вакхической песне”: “Полнее бокал наливайте..., Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас”; лихие застольные песни, вроде “Шотландской” или “Ирландской” Бетховена и так далее. Из режимных соображений не допускалось исполнение произведений, где речь шла о побегах даже из плена и т. п.

Короче, ограничений хватало и все же составлялись программы, в которых удавалось протиснуть (спасибо начальственной тупости и невежеству) хоть какие-то намеки на справедливость, горечь, недовольство своей долей и даже элементы сатиры на охранявших нас чинуш и бездушных служаков.

Но из этого концерта все живое исключалось начисто.

Отрепетированную программу пришлось в спешке безжалостно перекраивать, исключать, переставлять, заменять номера, а то и вводить новые, “беззубые”, из старых программ.

Нервничавший начальник КВЧ, ничего не смысливший ни в каком искусстве, тут же лез со своими указаниями, чтоб, не дай Бог, что-нибудь “не то” не прозвучало со сцены “кремлевского концерта” и, конечно, если бы мог, заменил всю программу выступлением хора глухонемых (жаль, что такого под рукой не оказалось).

Наконец все “горячие точки” из программы исключили. Тут участники стали отказываться выступать, матерясь почему зря. Подоспевший на помощь “министру культуры” (начальнику КВЧ) начальник режима с трудом навел порядок, посулив “отказчикам-артистам” по десять суток штрафного изолятора.

С большим опозданием “жизнерадостный концерт” начался. Естественно, он с каждым номером все больше и больше разочаровывал зрителей.

Единственным светлым пятном осталось выступление трио баянистов, исполнявших попури из популярных мелодий. Их в репертуаре не очень стесняли: что там может музыка?.. Начав с заигранного “Элегического полонеза” Огинского, баянисты, к радости начальства, перешли к ряду минорнейших музыкальных пьес и в заключение от... похоронного марша Шопена “рванули” к бравурному “Ехал я из Берлина” Дунаевского. Слова припева этой патриотической песни знал каждый:

“Эх, встречай, да крепче обнимай,
Чарочку хмельную полнее наливай?”

Мелодия так и звала к разудалому веселью, к плясу, а выростала она, повторяю, из... похоронного марша...

Придремавшая публика, не сразу поняв подтекст выступления, очнулась и наградила музыкантов долгими дружными аплодисментами. Однако, этот завершивший программу номер остался “непредусмотренным исключением” и, в целом, “откорректированный концерт” только раздосадовал горняков.

— Повеселили. — Говорили они, матерясь. — Только и знай, что работай, как проклятые.

Хмурые, разошлись зрители и участники.

Утром радио принесло известие о смерти Сталина. Зона притихла. Люди ожидали всего. Они, прошедшие фронт, плен, тюрьмы, уже не верили в возможность облегчения своей участи. Старший культторг, еврей, бывший разведчик-чекист, плакал.

Все как-то настораживало. По углам в бараках тихонько перешептывались. Тревога поселилась в каждом. Не исключалось, что могут “с горя” всех перестрелять. Некоторые охранники намекали на это. Считали часы.

Внезапно всем приказали разойтись по своим баракам. В каждый барак пришли офицеры лагпункта и стали читать нам, каторжникам, “Обращение к гражданам Советского Союза”. Значит, нас тоже к ним причислили. Страхи оказались позади. Никто не вспоминал испорченный концерт. Врач Антон Викторович ликовал. Луч света надежды блеснул в темном царстве.

Начиналась новая эра.

ЗАПРЕТНОЕ

(Каторжанке)

Стихает гул в рабочей зоне,
Зовут охранники. Остаться не могу,
Прощайте, добрые шершавые ладони,
Тоска некрашенных, ревниво сжатых губ.
Минута краденого счастья нам досталась;
Ты оторваться не находишь сил:
Давным-давно ни с кем не целовалась,
Никто тебя не мял, не грел и не любил.
Так пусть же здесь, у темного окошка,
Где в сумерках судьба нас сослепу свела,
Ты у меня возьмешь, хоть наспех, хоть немножко
Неволей неубитого тепла.

БЫВАЮТ В ЖИЗНИ ВСТРЕЧИ

Лагерь — это скопище несостоявшихся судеб, несбывшихся надежд, мечтаний, расчетов. Редко кто в лагере не прибавляет себе “веса”, говоря о своем прошлом. Так студент-недоучка какого-либо института становится дипломированным специалистом, хотя, конечно, в личном деле это не указывается; рядовой через два-три года пребывания в лагере уже говорит, что он был лейтенантом, а встретишь его еще через год-другой — оказывается, он воевал в чине майора, а то и подполковника, неудавшийся сочинитель музыки говорит о себе как о композиторе и так далее. Как правило, заключенные армяне называют себя родичами одного из ведущих сталинских наркомов Микояна, од-

нофамильцы Ворошилова и других “отцов государства” обязательно вещают о своем родстве с последними. Честно говоря, я тоже не избежал общей “эпидемии”. Мне было до ужаса досадно, что я, отличник актерского факультета Ленинградского театрального института, не закончил его, уйдя с предпоследнего курса добровольцем на фронт. Об уходе на фронт я не жалел, а жалел о том, что, хотя успел сдать часть предметов за весь курс института вперед (тогда это разрешалось), все же диплома не имел. А ведь так хотелось быть артистом!.. Вот я и говорил всем, что я — артист, закончивший театральный институт. Интересно, что находились и такие, которые, не желая обнаружить свою неосведомленность, клялись, что видели меня на сцене в некоторых ролях, которые, естественно, я себе тоже присочинил, исходя из своей практики выступлений на профессиональной сцене. Правда, вспомнить там было можно многое. Участвовал же я в спектаклях прославленных театров, например, Александринского, московского Малого, в гастролях великого трагика Папазяна и других выдающихся мастеров, игру которых наблюдал, буквально находясь рядом с ними, на сцене. Другой вопрос: в каких ролях я там выступал. Не скрою, в основном, в бессловесных, как и другие мои товарищи, студенты актерского факультета. Лишь считанные разы мне довелось в таких спектаклях, обычно заменяя кого-либо, играть небольшие роли. Но... Хотелось же, чтобы что-то из твоих жизненных надежд, увлечений, планов хоть отчасти сбылось... Поэтому при новых знакомствах в лагере я, пусть и делал вид, что верю тому, что мне рассказывают о себе, на самом деле относился к такого рода био-

графиям скептически. И дальнейший опыт, как правило, подтверждал обоснованность такого отношения.

Не особенно изменился этот взгляд и тогда, когда после конкурсного отбора я был принят весной 1954 года в центральную культбригаду культурно-воспитательного отдела Воркутлага. В ней также мне довелось познакомиться с любителями, именовавшими себя профессионалами. Когда же наша бригада слилась с культбригадой Речлага, я встретил там ряд настоящих профессиональных мастеров всех жанров, вплоть до замечательного циркача-жонглера Сергея Турицына, впоследствии после освобождения сменившего профессию на работу маляра-штукатура — и проще, и спокойнее, и прибыльнее. Конечно, были исключения. Люди, действительно достигнувшие какого-то положения, признания, успехов до ареста, не хвастали. Зато им меньше верили... Но в целом подавляющее большинство хоть немного, да фантазировали, не о себе, так о своих родичах.

Весной 1955 года часть культбригады, в которой выступал и я, получила приказ обслужить лагерь, расположенные вдоль железнодорожной ветки на Лабытнанги, то-есть, к востоку от основной печорской магистрали через реку Усу, Уральские горы к великой реке Обь.

Я был ведущим программы, выступал с музыкальным фельетоном, отдельными репризами и художественным чтением, в котором, конечно, с разрешения начальства, было три стихотворения собственного сочинения; они посвящались шахтерскому труду, необычной природе Заполярья и, что уже стало разрешаться, ожиданию свидания с любимой. Естественно, что

последнее стихотворение пользовалось особенным успехом.

Все участники культбригады имели пропуска, разрешавшие вход в любую лагерную зону во время гастролой. С нами ехали два охранника, не вмешивавшиеся в нашу жизнь, и, видимо, больше охранявшие нас от своих, чем следившие, чтоб мы не убежали. Вечером и утром они нас пересчитывали, а если мы собирались пойти в магазин, мы предупреждали, на какое время и куда уходим. Одним словом, демократия!

Хочется, чтобы вы, дорогие читатели, поняли, что такое воздух свободы для нас, двенадцать лет носивших на спине и на лбу номера, вечно находившихся за колючей проволокой в бараках, нередко запираемых на ночь на замок, или под конвоем, под дулами автоматов и в сопровождении злющих овчарок.

Весна тысяча девятьсот пятьдесят пятого года воспринималась нами, как свобода. Мы не видели еще конца своих сроков, хотя некоторых еще с начала года начали освобождать, но в воздухе веяло весной, весной свободы. Для нас это уже была свобода. Ведь по двенадцать-тринадцать, десять лет мы пробыли за проволокой.

На нашем пути попадались не только каторжные лагеря. В каждом встречали исключительно тепло. Бывали и неожиданные встречи. Так в одном лагере я узнал, что там сидит врач Левин, который вместе со мной вышел из смертной камеры и был в ленинградских "Крестах". Я его проведал. Увы, он был уже при смерти. Отечный, ничего не помнящий. Он не дожил до освобождения.

Ранее в лагере шахты "Капитальная" я был счаст-

лив встретить Бруно Мессинга (или Меснера), с которым был в ужасных подвалах кировской тюрьмы. Бруно считал, что я давно умер. Тем теплее была наша встреча. Он также ожидал освобождения. Его отец уже освободился и жил в Ленинграде.

Встретил я на “Капитальной” и чудесного молодого врача Стасика Гайдова, того благородного человека, который так тепло отнесся ко мне после смертной камеры, сам просидев в ней 61 сутки.

Могли быть и другие встречи. Так в одном ОЛПе, мне сказали, находится бандит и стукач Борисов, которому когда-то в Александровском центре я чуть не проломил голову. Естественно, что ни он, ни я не увидели друг друга.

Некоторые в пути, в женских ОЛПах, встречали своих симпатий. Короче, это была запомнившаяся волнующая поездка — гастроль.

Кажется, станция, при которой находился лагерь, называлась Чум. В лагере была больница для заключенных. После концерта в основной зоне попросили, чтобы мы небольшой группой выступили в палате для больных. В группу включили танцевальную пару, солиста, солистку, аккомпаниатора аккордеониста и меня, артиста разговорного жанра и ведущего.

Палату выбрали самую большую, занимавшую чуть не половину длинного барака, освободили место для сцены, а больные кто сидел, а кто лежал на койках. Всего зрителей было человек пятьдесят-шестьдесят.

Концерт, как всегда, прошел успешно. После его окончания ко мне подошел один из больных и сказал, что со мной хочет познакомиться некто Хесин, писатель.

Я о таком не слышал, но пошел к больному. Мы представились.

— Григорий Борисович Хесин.

— Саша, на самом деле Рафаил Клейн.

Завязалась беседа. Хесин не относился к тяжелобольным. Он сел на койку и мы разговорились. Я сразу почувствовал, что передо мной эрудит. Ему понравились мои стихи, а читал я неплохо, и он спросил, занимался ли я раньше литературным трудом. Я ответил, что писать начал только в лагере.

— Скоро будут большие перемены. — Сказал Хесин. — На днях я получил письмо от Сергея Владимировича Михалкова. В очень скором времени меня освободят. Я же работал начальником ВУОАП.

— Что это такое?

— Всесоюзное управление охраны авторских прав, могучая организация. — И он рассказал мне несколько эпизодов из своей многолетней практики, в том числе об авторстве либретто знаменитой оперетты “Холопка”. Ее либретто было проиграно в карты, и автором стал именоваться выигравший. Затем, рассказал Григорий Борисович, нам с трудом удалось настоящему автору выделить хоть часть баснословных гонораров от этой первой — и лучшей — советской оперетты.

Я с интересом слушал собеседника, видимо соскучившегося по благожелательному интеллигентному слушателю.

Но настала пора уходить. Мы очень дружески расстались. Я навсегда запомнил своего собеседника, хотя, каюсь, многому из его рассказа, в том числе и о том, что он бывший начальник ВУОАП, не поверил.

Прошло лет восемь-девять. Кажется, летом шесть-

десять третьего или шестьдесят четвертого года, приехав в Москву, я зашел во Всесоюзное управление охраны авторских прав по Лаврушинскому переулку 17/19, чтобы получить гонорар. Тогда моя пьеса-сказка “Камень жизни “ (по мотивам коми фольклора) очень успешно шла в Московском областном театре юного зрителя сперва в постановке Б.Г. Главацкого, потом В.С. Фридман. В этом театре пьесу сыграли в течение семи-восьми лет около трехсот раз и, хотя сборы с детских спектаклей невелики, но по тем временам раза два в год я получал довольно приличные по своим понятиям суммы.

Возле кассы выстроилась небольшая очередь. Помню: в ней были Константин Симонов, Виктор Ардов, а передо мной стоял Константин Ваншенкин. Были и другие известные авторы. Тогда я познакомился с Ардовым, заинтересовавшимся моими опытами в сатирическом жанре (были и такие). Но... что-то у меня в документации оказалось не готово и кассир предложила мне написать заявление и пойти подписать его у начальника ВУОАП. Наступил перерыв. Посидев с Ардовым в буфете, я отправился к директору. Увы, его не было. Секретарша предложила мне зайти к его заместителю. Я подошел к другой высокой двери в коридоре.

На двери стояло: “Заместитель начальника ВУОАП Хесин Григорий Борисович”.

Я сразу же вспомнил моего лагерного знакомого. Постучал. Вошел — и не успел представиться, как он меня узнал.

После реабилитации он был восстановлен во всех правах, но стал уже не начальником, а заместителем

начальника Всесоюзного управления по охране авторских прав.

Я вернулся к окошку. К удивлению Ардова, получил сумму, намного превосходившую его гонорар, и потом, как просил Григорий Борисович, снова зашел к нему.

Мы долго беседовали, вспоминая “минувшие дни”, а потом он вышел на крыльцо проводить меня.

Погода были хорошая, солнечная, но не жаркая. У крыльца стояли два пожилых человека. Они приветствовали Григория Борисовича, как доброго знакомого.

Григорий Борисович представил им “молодого многообещающего драматурга”...

Представились и они. Боже мой! Один из них был композитором Юлием Абрамовичем Хайтом, автором знаменитого “Авиамарша” (“Все выше, и выше, и выше...”), другой, с совершенно белыми волосами и молочного цвета лицом, также был композитором Виктором Ароновичем Белым, автором музыки известной песни “Орленок”.

Разговорились. Узнав, что я пишу стихи, собеседники оживились.

— Надо написать одну хорошую вещь, — сказал Хайт, — и она оправдает труд вашей жизни (боюсь, что не дословно, но по смыслу так).

Я подумал, что он, конечно, имеет в виду свой знаменитый “Авиамарш”.

— Откуда вы? — Спросил он.

— Из Воркуты. — Тихо ответил я.

— Мы там вместе были. — Поторопился, видя мое смущение (тогда еще говорить о Воркуте, значило, го-

ворить о заключении), выручить меня Григорий Борисович.

— Почему же вы скромничаете? — Сказал Хайт. — Я тоже был в местах, не столь отдаленных (а я и не знал, что он тоже сидел), — Воркута — это звучит гордо. Надо гордиться тем, что вы там были.

Не знаю, могу ли я этим гордиться. Но то, что Воркута стала обителью многих замечательных людей, — не сомневаюсь.

Впоследствии мы еще не раз встречались с Григорием Борисовичем.

Находясь в лагере, он не врал о себе: он был достаточно заметным человеком и без прибавлений.

УТРЕННИЙ ВЫПУСК

(Об устном рассказе Алексея Каплера)

В начале января 1963 года в Воркуту приехали писатели М. Дудин, А. Каплер с женой поэтессой Ю. Друниной, Г. Гулия с женой и своим милым земляком с такой непривычно трудной фамилией, что она не запомнилась, и журналистка Г. Долматовская. Такое созвездие литературных имен Воркуту еще не посещало и первая же встреча с гостями в новом дворце культуры шахтеров прошла при переполненном зале.

После встречи ее организаторы пригласили гостей и меня, местного пиита, в небольшой уютный банкетный зал ресторана, где уже были накрыты столы.

Тамадой единогласно выбрали Георгия Дмитриевича Гулия. Отведав первое же блюдо, он заявил, что оно

может быть приготовлено только его земляком-кавказцем. Пригласили повара — и действительно, писатель оказался прав: кулинарных дел мастера некогда под конвоем доставили из солнечной Абхазии в Заполярье.

Разговоры за столом завязывались сами собой, а когда смолкали смех и шутки, читали свои свежие, еще не опубликованные стихи Михаил Александрович Дудин и Юлия Владимировна Друнина. Читал и я, руководивший в то время секцией поэзии литературного объединения при редакции газеты “Заполярье”.

Дудин и Друнина очень доброжелательно отнеслись к моим поэтическим опытам, а с Каплером мы быстро нашли общий язык: нас сближала некоторая общность биографий: мы оба — уроженцы Киева и могли вспомнить немало знакомых по столице Украины, а также по Воркуте, где он и я находились в заключении. И вот теперь, через десять лет после освобождения, Алексей Яковлевич одним из первых откликнулся на предложение Союза писателей посетить шахтерскую Воркуту, где автор “Ленина в “Октябре” и “Ленина в восемнадцатом году” провел трудные годы своей жизни.

Плотный, широкоплечий, с крупными выразительными чертами лица, умными, чуть насмешливыми глазами, густыми серебристыми волосами над крутым лбом — Каплер, вступая в разговор, неизменно становился его душой и сейчас, делясь впечатлениями о Воркуте, всех вовлекал в беседу.

Но вот уже далеко за полночь, после очередного блюда или тоста, Каплер многозначительно объявил, что хочет рассказать одну правдивую историю, сделавшую его постоянным слушателем самого первого, утреннего выпуска последних известий по радио.

“Случилось это в нашем лагере в кабинете “кума”, так называли заключенные самого неприятного и опасного начальника — оперуполномоченного, офицера госбезопасности, наделенного такой властью, что его не без основания побаивались даже начальник лагеря и начальник режима, не говоря о зеках. А если “кум” был с садистскими наклонностями, как тот, о котором я вспомнил, да еще когда у него случалось плохое настроение, наказания сыпались направо и налево.

В то утро явно не выспавшийся с похмелья “кум”, хмурясь, в обычное время быстро прошагал через вахту в свой кабинет внутри зоны, сел за письменный стол, зевнул, потянулся и безразличным взглядом уставился прямо перед собой: явно со сна оперуполномоченный еще не успел придумать, чем бы ему заняться.

Дверь слегка приотворилась. В проеме показалась круглая, как крокетный шар, стриженная голова дневального зека. (Каплер слегка наклонил и повернул голову — и все сразу представили себе этого зека, лукавого раба, смотрящего на своего господина).

“Кум” продолжал зевать и потягиваться.

Зек снова просунул голову в дверь, чуть прищурясь, скользнул быстрым взглядом поверх головы оперуполномоченного и опять бесшумно закрыл дверь.

“Кум” нахмурился и недовольно крикнул. Тут дневальный переступил порог, быстро подошел, взял стул и приставил к столу.

“Кум” удивленно посмотрел на зека... Тот встал на стул, а с него... на стол.

“Опер” онемел от такой дерзости; выпучил глаза и, ничего не понимая, снизу вверх посмотрел на дневального. А тот над головой “кума” протянул руки, сорвал

со стены большой портрет, бросил на пол, спрыгнул со стола и начал топтать портрет ногами, приговаривая: “Так тебе! Так! Гад! Продажная шкура, изменник, падло!...”

“Кум” спохватился. Рука его потянулась к ящику письменного стола, где вопреки инструкции лежал пистолет.

Но в этот миг стремительней вихря в кабинет ворвались зеки и набросились на оперуполномоченного, крича: “Так и ты с ним заодно, продажная тварь! Гадина! Предатель! И ты с ним заодно!..”

Они нещадно ругали своего страшного начальника, пинали, награждали пощечинами, зная, что им за это ничего не будет: “кум” проспал утренний выпуск последних известий с сообщением об аресте и разоблачении заговора Берия.

“Вот как важно слушать утренний выпуск.” — С улыбкой закончил Каплер под хохот присутствующих.

Глазами иностранца
Иоган Вильгельм Гебхарт

ДА МОЖЕТ ЛИ ТАКОЕ БЫТЬ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Из воспоминаний

Отрывок из главы “Потемкинские деревни”

Может показаться невероятным, но еще сегодня они есть, “Потемкинские деревни”, как особое искусство для маскировки обмана. Было бы ошибочным считать, что они принадлежат только царско-

му времени. В подтверждение могу привести ряд случаев, которые пережил сам за почти одиннадцать лет моего пребывания в заключении. Ограничусь отдельными примерами. Они показывают чистейший обман родного государства, а значит и коммунистического режима, где каждый пытается обмануть другого, а все вместе обманывают государство. Итак...

Одно время нас содержали в лагере “Первоуральск” в Свердловской области неподалеку от районного центра Талицы и железнодорожной станции транссибирской магистрали. Наш объект на строительстве трубного завода отстоял от лагеря приблизительно на пять километров. Мы их отмеряли ежедневно два раза, туда и обратно. Шли мы маршевой колонной по пять человек в ряд. Вся колонна насчитывала две тысячи пленных “военных преступников”. Полагалось строго соблюдать равенство и не разговаривать. Но эти условия, конечно, не соблюдались. Охранники, сопровождавшие нас со всех сторон, никогда не требовали соблюдения этих строгостей, исключая того случая с трагическим исходом, когда охрана, требуя безусловного исполнения инструкции, приказала всей колонне разом лечь ничком и застрелила трех замешкавшихся товарищей. После возмущения, вызванного этим произволом, состав охраны полностью сменили и новые конвоиры уже были значительно гуманнее.

Однако, в один прекрасный день конвоиры потребовали строго соблюдать дисциплину на марше.

Дело в том, что обозревать достраивавшееся трубное производство приехала международная комиссия (американцы, англичане, французы и представители Красного креста из Женевы). Заодно прибывшие на-

меревались ознакомиться с положением и физическим состоянием все еще задерживаемых в России военнопленных.

Стройка была воистину гигантской. Здесь намечалось производство труб различного калибра, подобно немецкому у Круппа. Рождалось величественное производство. Недаром его демонстрировали международной делегации, представители которой в процессе осмотра и с нами вступали в разговор. Делегацию очень долго задерживали на объектах производства и постоянно водили с одного на другой. Таким образом, приездие провели за осмотром не менее пяти часов и завершили его лишь к обеду.

Но столь длительная задержка имела особую причину. Один охранник объяснил нам, что по дороге к стройке промышленного гиганта делегация увидела справа от транссибирской магистрали избушку-развалюху и захотела ознакомиться с ней поближе. Эта просьба сперва была отклонена, так как не входила в программу осмотра производства. Однако, на обратном пути этот “объект”, где ютилась семья с двумя детьми, все же обещали показать иностранцам.

Нам, получившим эти сведения от конвоира, показалось вообще невероятным, что в подобной развалюхе может обитать кто-нибудь, кроме крыс, мышей и насекомых.

На следующий день, греясь у костра, от того же охранника мы узнали, что делегацию так долго задерживали на стройке, чтобы иметь время вселить в развалюху другую семью со всем скарбом. Срочно вставили стекла вместо разбитых, на окна повесили гардины, гнилые полы покрыли коврами, в привезенные

шкафы повесили белье и костюмы; привезли даже целую укомплектованную кухню, ухитрились поставить ванну и унитаз со сливным бачком. Охранник рассказывал все это с видимым удовольствием; вот, мол, как быстро сумели сделать всю эту импровизацию и ловко обвести вокруг пальца слишком любопытных иноземцев. Для нас же такое представлялось чем-то уму непостижимым, как сказка братьев Гримм. Но обман удался. Делегация осталась довольна осмотром и удовлетворенно продолжала свое дальнейшее путешествие.

Я к тому времени успел перепробовать немало специальностей: поработал кровельщиком, штукатуром, подсобным рабочим, укладчиком паркета, бетонщиком, подручным при постройке дымовых труб на высоте 87 метров и, наконец, каменщиком.

Только с электричеством я не имел дела, но в остальном уже был в состоянии выстроить себе дом.

Наш бригадир, милый горняк, всегда заботился, чтобы в конце месяца каждый получал высшую зарплату — 150 рублей. При этом не играло роли — много или мало мы сделали или вообще не делали ничего. Все всегда сходилось. Все остальные наши бригадиры тоже научились зарабатывать деньги. Требовались только писарь и бумага, чтобы расписать начальству уже не раз проделанную работу. Мы, пленные, сумели перенять “русские методы” и научились следовать уже знакомому правилу: один обманывает другого, как наш бригадир начальника. У нас, в Германии, такое было немислимо.

А вот еще одна история. В ней часть из нас, в том числе и я, действовала, как настоящие... комсомольцы. Случилось это в феврале 1954 года, когда туман-

ной ночью нас из лагеря “Первоуральск” перевезли вдруг в Свердловск (ныне — Екатеринбург) на стройку по производству каучука.

От лагеря до стройобъекта было метров 100-150. Там уже высились каркасы огромных строений длиной примерно 30, шириной 20 и высотой 25 метров. Три или четыре из этих строений уже были почти готовы, но большая часть стояла еще в лесах, а то и еще без них.

Как мы впоследствии узнали, русские хотели здесь построить предприятие вроде нашего Данлопа или Конти, но, как все в России, невероятных размеров.

Здесь как-то утром приказали: всем штукатурам собраться перед строящейся котельной, возле которой уже высилась 80-метровая дымовая труба; всем столярам собраться в столярной мастерской, плотникам-строителям также собраться возле котельной перед зданием, где позже должно было размещаться управление предприятия. Мы, каменщики, а я тогда принадлежал к этой гильдии, должны были находиться также в полной готовности на объекте.

— Что все это значит? — Спрашивали мы друг друга. Но ответить не мог никто.

В конце концов начали стремительно возводить леса у котельной и здания управления. Чуть сколотили первые леса и настилы, штукатуры по команде ринулись к своей работе. Был холодный зимний день и раствор, еще не разглаженный, уже замерзал. Так довольно быстро “оштукатурили” всю новостройку. О качестве, конечно, речи не было.

Тут подоспели столяры с оконными рамами; влезли на леса и начали вставлять рамы в оконные проемы, которые мы, каменщики, тут же подчищали. Работа

кипела. Один поспевал за другим и на следующий день здания котельной и управления снаружи выглядели готовыми. Присланная бригада русских женщин вымыла все стекла и к вечеру второго дня уже сняли леса.

На третий день утром нас всех, занятых на этом строительстве, нарядили в форму комсомольско-молодежных бригад, включая головные уборы. Самосвал с горой старого тряпья и две бочки смазочных масел выгрузили позади дымовой трубы. В подземном ходе тряпье облили мазутом, подожгли и из высокой трубы поднялась темная туча дыма.

Нас всех на фоне этого “строительства” выстроили полукругом.

Тут появились звуко- и фоторепортеры, запечатлевшие всю сцену на пленке и в звуке.

После этого нам разрешили разойтись и приступить к своей повседневной работе.

На следующий день мы красовались на первой странице центральной газеты “Правда”. Текст под снимком гласил, что “снова нашим смелым молодым комсомольцам удалось досрочно сдать в эксплуатацию новую гордость нашей индустрии”.

Как же тут не вспомнить “Потемкинские деревни”?!

Перевод с немецкого Александра Клейна.

АВЕ МАРИЯ*

(К 100-летию со дня рождения
композитора В.В. Микошо (1897-1992))

А могло ли быть иначе?.. Кровавый кошмар самого страшного лета сорок первого года... Бестолковая сумятица окружения, когда противник, используя превосходство в организации и технике, добывал полк московских ополченцев по частям... Голодный плен. Смерть истощенных товарищей. Отчаянное решение — бежать.

Его поймали. По следам от сорванных петлиц и звезды на пилотке сразу определили, что беглый пленный, и офицер, к которому его привели, даже не допросив, велел его расстрелять. Позвали другого офицера, длинного, белобрысого, и тот с двумя солдатами повел беглеца по грязной разъезженной дороге приводить приказ в исполнение.

Дождь, хлеставший всю ночь, прекратился. Выглянуло солнце.

Офицер начал тихонько насвистывать мелодию и вдруг прервал: осужденный ее продолжил, также тихо, но исключительно точно.

— Откуда ты знаешь?

— Шуберт. “Аве Мария”. — Пленный с грустной улыбкой, тронувшей его тонкие губы, словно поучая, наставительно, как делают преподаватели музыки и дирижеры, вполголоса напел еще несколько тактов.

* “Аве Мария” — католический гимн, торжественная песня, обращенная к св. Деве Марии. В числе композиторов, авторов “Аве Мария”, в разное время были Ф. Шуберт, Ш. Гуно, Э. Вила Лобос и др.

— Вы музыкант? — Невольно переходя на “вы”, спросил офицер.

— Да.

Они остановились у дорожной обочины. Офицер задал беглецу несколько вопросов, касавшихся произведений немецких композиторов.

Пленный поражал эрудицией. Солдаты стояли тут же, поглядывая то на него, то на своего начальника.

— Нн-а-а. — Сказал тот наконец. — Вы — образованный человек, интеллигентный... Так дело не пойдет... Я ведь тоже музыкант. — И он объяснил, что до войны играл в оркестре.

— А я... — Пленный сделал несколько движений, как бы дирижируя.

Они пошли дальше, беседуя о музыке и музыкантах. Пленный сносно говорил по-немецки, а где не хватало слов, там все объясняли вполголоса напеваемые мелодии. Его лицо и вся тощая фигура в грязном ватнике при этом преображались.

— А ведь мы вас ведем на расстрел. — Спыхватился офицер и остановился. — Что делать?

Теперь шумно вздохнули и солдаты. Они смотрели на осужденного с сочувствием. Офицер перевел глаза с него на них.

— Война — говно. — Констатировал он. Глянул на притихших солдат и продолжил. — Вы — музыкант — и я музыкант. Зачем же расстреливать.

Солдаты согласно закивали головами.

— Мы (офицер снова перешел на “ты”) отвеем тебя в лагерь. Тут недалеко. Только больше не убегай.

... Но он все-таки убежал. Не сразу, а через год, ког-

да представилась возможность, при отступлении немцев.

Случайно он узнал пароль и той же ночью в крошечной тьме улизнул. На оклик — “кеннворт!” (пароль!), он выкрикивал его и беспрепятственно добрался до недалекой линии фронта. На рассвете он перешел ее.

... И вот грязный, оборванный, стоял он один перед военным трибуналом войск НКВД Курской области. Допытывались о “задании”: не верили, что пленный, узнав пароль, обманул бдительного врага...

— Фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность?..

— Микошо Владимир Владимирович, год рождения 1897, латыш.

— Образование?

— Высшее. Закончил Киевскую консерваторию, как пианист и дирижер, и Московскую, защитил диплом музыковеда.

Он из плена убежал к своим, а они записали, что его “задержали по подозрению в шпионаже”... Его честному рассказу о первом побеге и “музыкальном” избавлении от расстрела не хотели верить: не могут быть среди фашистов музыканты и гуманисты...

Как “изменника Родины” его осудили на 10 лет заключения с последующим поражением в правах на 5 лет.

Через несколько месяцев его “дело” перелистывал офицер госбезопасности в Воркуте. Этого оперуполномоченного неспроста интересовало “преступное прошлое” осужденного.

— Гм, гм,.. так, так... — Читал он: “...В годы революции и гражданской войны служил в латышской

стрелковой дивизии капельмейстером первого кавалерийского полка; участвовал в боях на Южном фронте... Войну закончил начальником канцелярии управления военными оркестрами при штабе Красной Армии... После окончания Московской консерватории (Киевскую закончил перед революцией) начинает педагогическую работу... с 1936 года — на созданном военном факультете консерватории на кафедре инструментовки... Выдвинут на звание доцента... В эти же годы работает дирижером Первого московского Большого концертного ансамбля “Персимфанс”, а также руководит Малым симфоническим оркестром “Мосгоркино”... Женат... Жена — певица Тамара Петровна Квасницкая,... маленькая дочь... В начале войны ушел добровольцем в народное ополчение, где организовал военный оркестр и стал капельмейстером при 1-м стрелковом полку 8-й дивизии Краснопресненского района... Попал в плен под Ельней... Статья 58... 10 лет... “

Оперуполномоченный усмехнулся: повезло, что не каторги. Близился конец сорок третьего года...*

Оперуполномоченный снял трубку и попросил соединить его срочно с Управлением...

— Товарищ инженер-полковник, говорит... Разрешите доложить: я, кажется, нашел того, кто вам нужен...

... Надев новый чистый бушлат и мягкие ватные штаны, Владимир Владимирович почувствовал себя наконец блаженства.

Его привели в просторный барак, где одну половину занимали двухъярусные нары, а во второй... за пультами сидели музыканты с инструментами в руках.

* В 1943 году в СССР была введена каторга.

Он присел к пианино. Посмотрел клавиш. Ему смущенно показали партитуру.

Он улыбнулся и тут же начал ее править, черкать, исправлять, поглядывая на оркестрантов и, мурлыча себе под нос.

Надо отдать должное тактичности Владимира Владимировича: переделывая партитуру, написанную бывшим до него руководителем оркестра В.И. Беликом, он особенно подчеркнул не ошибки любителя, а именно те места, которые считал наиболее удачными и не пошатнул в глазах коллег авторитет своего предшественника.

... Через несколько дней на сцене недавно открытого Музыкально-драматического театра комбината Воркутауголь МВД СССР, полностью переоркестрованная, шла знаменитая оперетта Кальмана “Сильва” в постановке главного режиссера Бориса Аркадьевича Мордвинова, заключенного, бывшего главного режиссера Большого театра Союза ССР, профессора Московской консерватории и школы-студии Московского академического художественного театра, заслуженного артиста РСФСР.

За дирижерским пультом стоял Микошо.

После спектакля его представили начальнику “Воркутстроя”, “хозяину Воркуты”, инженеру-полковнику Михаилу Митрофановичу Мальцеву (вскоре — генерал-майору), большому любителю искусства, по праву считающемуся вместе с Б.А. Мордвиновым создателем воркутинского театра.

Известно, какую животворящую роль сыграл театр в истории Воркуты в самые трудные годы. Нагрузка

сотрудников театра, а их числилось сто пятьдесят, была огромной — шестьсот (!) показов спектаклей и концертов ежегодно. Параллельно с этим выпускали тринадцать премьер новых постановок каждый год, не считая концертных программ.

На репетиции и спектакли водили под конвоем. Ночами донимали клопы и крысы. Но было главное — возможность заниматься любимым делом, искусством, без которого жизнь теряла всякий смысл.

За короткие сроки поставлены оперы “Травиата”, “Риголетто”, “Севильский цирюльник”, “Чио-Чиосан”... Микошо самостоятельно осуществил постановку сложнейшей оперы Ш. Гуно “Фауст” и, конечно же, дирижировал ею. Успех превзошел ожидания. На спектакль приезжали “высокие начальники” не только из других районов республики Коми, включая Сыктывкар, но даже из других областей — Архангельской, Вологодской, Кировской, где также располагалось множество лагерей.

Не перечислить оперы и оперетты, где за дирижерским пультом стоял Микошо. Более чем к двадцати драматическим постановкам, водевилям, сказкам для детей написал он оригинальную музыку. “Овод”, “Дон Сезар де Базан”, “Собака на сене”, “Беда от нежного сердца”, “Снежная королева”... Всего не перечислить. А сколько лекций-концертов по программам, которые составлял и вел Микошо, осветили темные будни Заполярья?!

Немало волнующих встреч случалось у Владимира Владимировича и его коллег по театру во время поездок по лагерям.

Увы, далеко не все прекрасные актеры, певцы, му-

зыканы, балетмейстеры, находившиеся там, имели возможность заниматься искусством. Тем, у кого сроки превышали десять лет или приговор гласил — “каторга”, даже смотреть выступления удавалось лишь в исключительных случаях, когда вдруг бригаде театра разрешили посетить их зону.

Часто в ее составе выезжал и Микошо. Как-то артисты выступали в лагере, где содержали множество немецких военнопленных. Естественно, что узнав о контингенте зрителей, руководивший бригадой Микошо предложил включить в программу несколько произведений немецких классиков.

Начальник культурно-воспитательной части, мало разбиравшийся в искусстве, на всякий случай предупредил: “Только без слов”.

В этом лагпункте имелось пианино. Микошо сел к нему и тут же начал играть вместе с виртуозом-скрипачом попури из известных мелодий немецких композиторов-классиков.

Можно себе представить, как приняла это выступление публика. Мелодии хлынули в зал одна за другой. Вдруг после известной “Серенады” Шуберта из зала раздалось: “Аве Мария!”, “Аве Мария!”

Скрипач и Микошо переглянулись. И вот божественный напев поплыл над стриженными головами зеков, уводя мысли и чувства в неземные, необъяснимо прекрасные и ощутимо светлые дали, заставляя забывать об этой вонючей голодной столовой, превращенной в концертный зал...

Сотням слушателей вспомнились солнечные родные места, липовые аллеи, острые шпили старинных готических церквей...

А мелодия, свободная и торжественная, все наливалась, крепла, словно все выше и выше поднимала души на своих крыльях.

У многих на глазах блестели слезы.

После окончания концерта подоспевшие надзиратели оттесняли подбегавших с выкриками благодарности зрителей от дверей, из которых выходили артисты.

Внезапно Микошо услышал снова, почти рядом с собой, мелодию “Аве Мария”. Ее натужно высвистывал, явно пытаясь обратить на себя внимание артистов и поближе протолкнуться к ним, длинный белобрысый немец в полинявшем офицерском мундире.

Их взгляды встретились. Микошо на мгновение застыл. Чуть приоткрыл рот, но ничего не сказал: рядом стоял надзиратель.

Владимир Владимирович высоко поднял и опустил голову. Глаза его потеплели: узнал.

Немец поймал этот взгляд и радостно заморгал глазами: узнал тоже.

Больше они не виделись.

ПУРГА

Суббота ознаменовалась такой пургой, что воркутинские старожилы не могли припомнить подобной. Занесенный снегом вагонзак уже несколько часов стоял на запасных путях. Он прибыл откуда-то из Караганды или Сибири. Пурга не утихала. Но этап нужно было принимать.

Вокруг вагона встали собаководы с злющими овчар-

ками. Конвоиры, матерясь, столпились к нему поближе. У самых его колес жались выгруженные “враги народа”, каторжники, осужденные по страшной пятьдесят восьмой статье, мужчины и женщины. Друг от друга их отделяли каких-нибудь два-три метра и при каждом новом порыве ветра это расстояние грозило уменьшиться. Инстинктивно всем хотелось сбиться в кучу, как животным, попавшим в безвыходное положение при общей опасности.

Снег слепил, покрывал ледяной коркой лица, забирался за пазуху. Прожекторы, установленные поблизости от места выгрузки, еле-еле освещали пространство на два-три метра от себя. Всё тонуло в белесой мгле, в непрерывных завываниях ветра.

Начальник конвоя, сопровождавшего этап, крикнул, что “лучше бы всех этих гадов пострелять на месте, чем из-за них мерзнуть” и стал передавать “дела” и заключенных воркутинскому конвою. Он брал у рядом стоявшего с “делами” солдата папку и выкрикивал фамилии.

Названный откликнулся, выкашливая имя, отчество, год рождения, статью уголовного кодекса, по которой был осужден, срок наказания и переходил в сторону, где стоял воркутинский конвой.

Уже через несколько минут выкрикивавший охрип и церемония автоматически ускорилась.

— Гнеденко?

— Иван Герасимович, двадцать пятого года, один “Бэ”, двадцать лет.

— Козлов!

— Я!

— Не “я”, а имя и далее, что положено!

— Василий Петров..., двадцать седьмой, один “Бэ”, двадцать...

— Ширяева!

— Анна Петровна, двадцатого, один “А”, пятнадцать.

Женщины отходили влево, мужчины — вправо. Вскоре поблизости друг от друга образовались две темные, призрачно шевелящиеся кучки.

— Бунчук!

— Микола Мико...

— Короче! — Прервал вызывающий. — Статья, срок?

— Тысяча девятьсот девятый...

— Статью и срок спрашиваю, мать твою за ногу! Быстрей!

— Пятьдесят четыре (в украинском кодексе соответствовала пятьдесят восьмой), один “А”, пятнадцать.

— То-то же! Быстрей!.. Куда!?. Не туда! Вправо! Тьфу, как метет?!

— Ковалев!..

— Василий (и так далее).

— Антипова!

— Дарья!.. (и так далее). Отчества уже не называли. Охранники торопились поскорее разделаться с работой.

— Гринько!..

— Анна... (и так далее). Пятнадцать,.. один “А”...

— Шимко!

— Феона!... Пятнадцать. — Пропищала еще одна сгорбленная фигура и проворно юркнула в сторону.

— Рысаков!..

— Белов!..

В белой мгле серыми тенями метались согнутые силуэты от колес к принимавшему их конвою. Наконец у вагона никого не осталось. Одна толстая кипа “дел” перешла в руки начальника конвоя, сопровождавшего мужчин, другая — потоньше — к сопровождавшему женщин. Последних было немного, двенадцать или пятнадцать, раз в шесть-семь меньше, чем у мужчин.

Заключенных пересчитали по количеству “дел”. Сошлось. Пошли.

Как водится, сперва всех повели на пересылку, находившуюся примерно в километре от места выгрузки.

Шли медленно, увязая в снегу. Дорогу замело. По ней прекратилось всякое движение. Конвоиры кое-как ориентировались по вехам. Овчарки выбились из сил, утопая в рыхлом глубоком снегу, и собаководы буквально тащили их на поводках.

Ветер сбивал с ног. Снег слепил. Мат висел в воздухе, сливаясь с воем пурги.

Наконец мужской этап достиг заветных ворот пересылки и, наскоро пересчитав по “делам”, замерзших “врагов народа” впустили в зону.

Почти одновременно у ворот женской зоны пересылки так же приняли вторую часть этапа и бедные представительницы прекрасного пола, стуча зубами и тихо скуля, как побитые собаки, устремились в указанный им карантинный барак неподалеку от выхода, похожий на огромный сугроб.

Едва они вошли, как за ними закрыли дверь.

— Кипяток — справа от входа, слева — параша! — Прокричала, запустив прибывших, надзирательница. — Ужина не выписано. На довольствие вы поставлены с завтрашнего дня. Отбой. Спите.

Закрываемый ключом, огромный амбарный замок тяжело брякнул и снаружи доносился только свист ветра.

Единственная тусклая лампочка еле-еле освещала маленькое пространство возле печки, где сгрудились вновь прибывшие.

Они боязливо оглядывали помещение, по углам которого было совершенно темно. Помещение, рассчитанное человек на двести, казалось пугающе пустым и оттого еще более холодным и неудобным.

По обеим сторонам его и в конце, у глухой, покрытой ином стены, высились двухъярусные нары. Посредине желтел длинный, грубо сколоченный стол. На нем высилась башня из глиняных мисок. Возле стола с обеих сторон стояли длинные шаткие скамейки. Еще одна скамейка, покороче, была у горячей печки. Перед дверцей стоял большой ящик с углем и ржавая саперная лопатка, чтобы подбрасывать топливо в огонь.

— Приехали, девочки. — Сказала одна, отряхивая заledenелую, враз ставшую мокрой одежду и устраниваясь поближе к огню.

Остальные тоже стали отряхивать снег с себя и подруг. Стол придвинули к печке, скамейки тоже. Разложили одежду для просушки; копались в своих вещмешках и чемоданчиках, выискивая в них — что бы еще надеть на себя на смену промокшему, на сон грядущий. Ночь не обещала быть теплой. Но здесь хоть не дуло: весь барак находился в снегу, словно в футляре.

— Вот она, Воркута. — Вздохнула высокая блондинка лет тридцати и продекламировала:

“Воркута, Воркута, — хитрая планета,
Десять месяцев зима, остальное — лето.”

— А рассказать анекдот про Воркуту? — Вставила другая, помоложе и ростом невеличка.

— Давай.

— Так вот, у Емели не стоял... Но вдруг он услышал, что климат в Заполярье излечивает от импотенции — и уехал в Воркуту.

Вскоре жена его, Дунька, получает телеграмму: “Я уже могу два раза в ночь.”

Обрадовалась Дунька, побежала к соседке, показывает телеграмму: “Видишь?!”

— Дура. — Отвечает ей соседка. — Чему ты радуешься? Там же ночь полгода...

Засмеялись.

— А у меня “ночь” уже семь лет. — Заметила одна из слушательниц. — Только даже без этих “двух раз”...

— А у меня — шесть лет...

— А у меня — пять...

В котелке на печке согрели воду, обжигаясь, сделали по несколько глотков и стали расстилать непромокающие телогрейки и прочее тряпье на нарах, устраиваясь ко сну.

Большинство легли на верхние нары (наверху теплее), кроме пятерых, устроившихся на нижних, но зато поближе к печке. Подбросили в нее угля и пожелали друг дружке спокойной ночи.

Почти все сразу уснули, лишь две-три, более чувствительные к укусам бесчисленных клопов, еще некоторое время продолжали безнадежную борьбу с проклятыми тварями, пока не поддались усталости.

Когда все смолкли, Феона, чуть прихрамывая, проковыляла к параше, неловко устроилась на ней, а потом тихонько вернулась на свое место на нижних на-

рах с краю, возле веселой рассказчицы анекдота про Воркуту.

— Че ты? — Сонно пробормотала она.

— Холодно. Зябко. — Шепнула Феона. — Как звать-то тебя?

— Аня. Прижмись ко мне... Вот так.

Рука Феоны обхватила соседку, нащупала пуговицу душегрейки, расстегнула и, чуть покопавшись в белье, коснулась жаркого тела.

— Ух и ледяная же! — Вздрогнув мурлыкнула Анна.

— Сейчас согреемся. — Услышала она шепот в самое ухо. Рука, вдруг показавшаяся в темноте большой и шершавой, задержалась на груди, нежно погладила ее и, понемногу согреваясь, заскользила к животу. В то же время Анна почувствовала, как соседка к ней прижимается все сильнее. Большая рука, почему-то волнуя Анну, шарила по ее телу...

— Че ты? Успокойся. — Шепнула Анна, в свою очередь отводя свою левую руку за спину к тесно прижавшейся к ней сзади соседке. Последняя, видимо ложась спать, расстегнула одежду.

Рука Анны вдруг коснулась твердой горячей части тела соседки, не оставлявшей сомнений в ее мужском происхождении...

Анна вся резко повернулась, но не вскрикнула: ее губы надолго плотно слились с жадным поцелуем Феоны...

...Их возня и тяжелое, напрасно приглушаемое дыхание, через некоторое время первой заметила соседка Анны, почувствовав, что та больше не греет ей спину.

Она тоже была молодой женщиной. Сперва соседка никак не могла понять, в чем дело, даже заподозрила

подругу в лесбиянстве. Однако, когда после очередного раунда та откинулась на минуту, чтобы отдышаться, приятельница догадалась.

— Кто это? — Спросила она шепотом.

— Му-жи-ик. — Еще тише жарко выдохнула Анна.

Подруга отвернулась и некоторое время, пока сбою продолжалась возня, лежала молча.

Но когда Анна затихла, приятельница осторожно зашептала ей в ухо: “Ты его знаешь?.. Нет?.. Молодой?.. Ну не будь же блядью... Такой случай не повторится... Отдохни...”

Усталая Анна поменялась местами с подругой и через две-три минуты возня возобновилась.

Пурга не утихала.

...Утром, когда, пересчитав всех через кормушку, в барак дали тринадцать хлебных паек, четыре обитательницы нижних нар выделили, каждая по кусочку, на долю Феоны. За труды. Сейчас он наконец уснул.

Воскресенье и дикая непогода сделали свое дело. Новоприбывших, мужчин и женщин, весь день никто не тревожил, а проверку женщинам, благо их было мало, вообще производили через кормушку (окошко в дверях для раздачи пищи).

В ночь на воскресенье с верхних нар на нижние перешли еще три молодые женщины...

Только в утро на понедельник пурга стала понемногу утихать.

После подъема вновь прибывшим на мужскую пересылку сделали проверку, хорошенько обшмонали и опять заперли.

Однако через час проверка — на этот раз по “делам” — повторилась. Еще через час ее сделали снова,

причем вместе с надзирателями пришли врач и фельдшер.

Всех построили вдоль нар, пересчитали и приказали приспустить штаны.

— Не иначе, евреев ищут. — Предположил один из бывших полицаев.

— А, может, татар. У них тоже обрезание. — Вставил другой.

— А есть такие?

— Хрен его ведает. На этап отовсюду собирали. Никто друг друга не знает, разве что в вагонзаке познакомились.

— Должно, какую особую примету высматривают.

— На мудях!

— А что? И там может быть. Вот татуировка, наковки.

— Э-э. — Догадался еще один. — Сифилисных ищут.

Врач и фельдшер, обойдя шеренгу, ушли вместе с надзирателями, не открыв тайную причину своего посещения.

... А женщинам велели приготовиться к бане.

Трогательным было прощание с Феоней. Все считали, что баня должна их разлучить. Навсегда. Увидят, что стриженный — и конец.

Правда, одна старуха с верхних нар (а в судьбе Феоны принимали участие уже все) посоветовала, если что, сказать, что, мол, после сыпного тифа. При нем всех стригут". А вот за счет чего "списывать", если приметят, основное отличие?.. Положение тупиковое. Но... всем миром — авось прикроем...

Быстро раздевшись, женщинам действительно удалось прикрыть Феону и вместе войти в моечную. Там

тоже заслоняли, окружали; каждая, даже старые, норовили “спинку потереть”. Никто не стеснялся. Ведь срок у каждой пятнадцать-двадцать лет, предусматривающий строжайшую изоляцию от мужчин. Какое уж тут стеснение?.. Доведется ли еще когда вообще прикоснуться к мужику? А тут — молодой и голый.

Феона блаженствовал. Лежа на предварительно ошпаренной кипятком лавке, он, прикрывая невыспанные глаза, отдыхал после двух нелегких ночей и воскресного дня, во время которого ему нет-нет да и не давали покоя его сожители. Остальные не осуждали. Молчали. И, если не страдали завистью, то, во всяком случае, понимали и сочувствовали.

Выйдя из моечной перед получением одежды из раскаленной дезинфекционной камеры, женщины постоянно заслоняли собой Феону от дезинфекторши; на голову повязали полотенце: не дай Бог, заподозрит.

Так удалось одеться без приключений в приятную, горячую после прожарки одежду и вернуться в барак в отличном настроении.

Едва за ними закрылась дверь, как женщины со смехом окружили Феону и, не давая ему слова вымолвить, наперебой заверещали о том, как ловко они сумели его “пропустить” через баню.

Дверь отворилась. Вошла толстая раздатчица с большой кастрюлей баланды и черпаком. Поставила на стол.

— Обед. Сами разделите. — И обратно направилась к дверям. Но вдруг взвизгнула: “Внимание!”

В дверях стояли два офицера, а за ними надзирательница и два рослых надзирателя.

Старший офицер — капитан — в сопровождении лейтенанта, не спеша прошагал вдоль куцой шеренги выстроившихся у нар женщин. Внимательно посмотрел на них и вдруг резким движением сорвал шерстяной платок, наспех накинутый на голову Феоны.

— Что?! Погужевался?! — И насмешливо продолжил. — Будешь знать, как в бабьем платке при начальстве стоять.

Женщины стали наперебой вступаться за своего кавалера: он не виноват. Его пургой занесло. Еле отогрели...

— Знаю я вашу баню. — Оперуполномоченный (это был он) кивнул надзирателям. Те заломили Феоне на всякий случай руки за спину и вывели его из барака.

Почему же в мужской пересылке состоялся странный медосмотр? Когда оперуполномоченный (“кум”) начал разбирать “Личные дела” женщин и обнаружил среди них Феонино (кстати, Феона есть и женское и мужское имя), то сразу позвонил на вахту мужской зоны пересылки и приказал срочно проверить прибывших с последним этапом мужчин. При этом “кум” добавил, что есть подозрение, что кто-то из них пробрался к женщинам.

Дежурный надзиратель — казах — передал приказание начальства, пояснив, как понял, что среди мужчин “должен быть один женщина”. Для выяснения последнего обстоятельства и вызывали врача с фельдшером.

Если бы эту историю рассказали мне товарищи по каторге или сам Феона, я мог бы усомниться в истинности случившегося. Но как-то в присутствии старшего культорга Рисина нам ее поведал майор, бывший

фронтовик, очень хороший человек, недолго занимавший пост начальника КВЧ (культурно-воспитательной части) ОЛПа шахты № 25.

С Феоной же я познакомился позднее. Он иногда с грустью вспоминал о своем пребывании в “гареме” и самих женщин, жалел, что имена только двух первых запомнил, а остальных перепутал, и внешне не мог запомнить: ночью было полутемно, а днем еще темнее: пурга превратила барак в сплошной сугроб.

Особо о подробностях своего “султанства” парень не распространялся; правда, объяснил, что уже днем занимаемое им место на нижних нарах отгородили со стороны дверей, завесив платками, полотенцами, платьями, из-под которых к нему иногда “ныряла” очередная гостья.

Попал он в женский этап сослепу, по его словам, когда при выгрузке так мелко, что глаз не открыть. Ну, а поняв, среди кого очутился, парень решил не идти против судьбы. Прихрамывал же он сперва понарошку, чтоб походкой не выдать свое мужское происхождение.

В изоляторе его продержали недолго, суток трое: начальство не решилось наказать строже, чтобы не привлекать внимание к собственной оплошности.

Небольшого роста, узколицый и белобрысый, очень добродушный, Феона до самого освобождения работал в шахте.

Как-то после смены мы стояли рядом перед вахтой ОЛПа в ожидании шмона. Мела пурга и Феона, вздыхая, кивал головой и хмыкал себе под нос. Уж не вспоминал ли он добром, в который раз, ту пургу, которой его встретила Воркута?..

АРТИСТ...

Никто не ждал вестей из дома
И за парашей стихла мышь,
Когда я “тискал” длинный “роман”
Про инсургентов и Париж.
Забыв про голод и усталость,
Я после каторжного дня
Делился тем, чего хоть малость
Во мне осталось от меня.
И в пересказе книги старой
Рождался грохот баррикад,
И кто-то всхлипывал на нарах,
А кто-то ахал невпопад;
И каждый видел ход подземный,
Которым, не жалея сил,
Герой, как я, от стен тюремных
Друзей к свободе уводил.

ЕДИНСТВЕННАЯ...

Мы сидели на самых почетных местах, в первом ряду большого клубного помещения женского лагпункта поселка Сейды, чувствуя спинами и затылками восхищенное любовное внимание сотен находившихся позади нас женщин. В большинстве они были такими же, как мы, осужденными на 15-20 лет каторги.

Шла весна 1955 года. Хотя даже безобидные свидания между осужденными мужчинами и женщинами запрещались и жестоко наказывались, но в режиме появились многочисленные просветы. Одним из них стало

направление концертной группы центральной культурной бригады Воркутлага для выступления в женской зоне на вечере, посвященном успехам в трудовом соревновании (так называлось оно в отличие от социалистического у заключенных).

Вечер традиционно начался с торжественной части. Пожилой майор, начальник лагеря, вооружив нос очками, прочитал, покашливая, доклад, написанный для него какой-то каторжанкой, к счастью недлинный. Но майор, чувствуя нетерпение зала, ожидавшего выступления своих артистов, к концу заторопился и безбожно сбивался.

После доклада победителям соревнования, лучшим труженицам, вручали почетные грамоты и объявляли благодарность.

Награждаемые, их было немного, одна за другой поднимались на сцену. Майор вручал грамоты. После каждого вручения аккордеонистка, сидевшая в кулисах маленькой сцены, играла туш и, сопровождаемая аплодисментами, награжденная спускалась в зал. Как на воле.

Последовавший затем концерт прошел с огромным успехом. Конечно, лучше всего соскучившаяся по мужчинам аудитория встречала артистов. Артисткам хлопали не так дружно.

После окончания концерта всех его участников пересчитали и отвели в зону в сопровождении надзирателей и надзирательниц. Последние тоскливо поглядывали на артистов, молодцов, как на подбор.

... Спустя много лет, после концерта в Инте, зашедший за кулисы администратор сообщил, что меня “спрашивают какие-то дамы”.

Я спустился в фойе и увидел двух пожилых женщин. Старшая, уже совсем седая, обратилась ко мне: “Вы — артист Клейн?”

— Да.

— Извините, пожалуйста, вы в Сейде никогда не выступали?

— Выступал. — Ответил я. — Лет пятнадцать назад вел там концерт (я не добавил “культбригады Воркутлага”, так как подобно большинству, прошедших “лагерные университеты”, при первом знакомстве не считал нужным докладывать о своем подневольном прошлом).

Седая оживилась и повернулась к спутнице: “Вот, я же говорила, что это он.”

— Мы обе тогда сидели в зале. — Видя, что я готов смутиться, поторопилась пояснить вторая.

— Значит, вы... — Начал я.

— Ну, конечно, те самые... — Понимающе улыбнулась седая. — Ваши зрители...

— Ей еще тогда на сцене почетную грамоту вручали. — Добавила приятельница.

Убедившись, что встретились одного поля ягоды, мы разговорились. Стали расспрашивать друг друга о послелагерной судьбе, о женитьбах, замужествах, детях...

Кончилось тем, что приглашенный на чай, несмотря на протесты спутниц я в ближайшей булочной купил торт и вскоре мы поднялись на второй этаж длинного деревянного дома в большую, скромно обставленную чистенькую комнату. В ней жила седая с мужем, также некогда побывавшем в местах, не столь отдаленных... Но поужнее. Теперь он работал на желез-

ной дороге. А жена, ее звали Марья Ивановна, только-только вышла на пенсию.

Муж огорчился, когда я отклонил предложение “выпить за встречу”, и, вздохнув, присел к самовару.

У нас оказалось много общих знакомых обоего пола. После освобождения с некоторыми из них мы переписывались.

Поговорить было о чем и о ком.

Наконец, около полуночи, я начал прощаться.

Надевая пальто, я повернулся к окну. С одной стороны его высоко в углу из киота золотилась икона, а в другом углу в узенькой деревянной раме под стеклом я увидел...

— Ну да, та самая, что при вас вручали... в Сейде. — Поймав мой взгляд, сказала седая.

В обрамлении розово-красного занавеса с кистями выделялось крупное “Грамота”.

Я подошел к ней. “Штаб... отделения вручает настоящую грамоту коллективу (зачеркнуто)” — и от руки вписано: “Марии Ивановне Черненко за успехи в трудовом соревновании за достойную встречу Первого мая.”

Внизу красовались атрибуты труда — скрещенные лопаты, кирки, молоты — все, чем более десяти лет орудовала женщина. Возле них стояла большая круглая печать и подпись начальника отделения Ж-175...

— И там здорово работала. — Констатировал муж. — И здесь. Только тут никаких грамот нам не давали, потому как сами понимаете... Деньгами не обижали... А уж насчет грамот,.. извините...

— Вот так-то. — Тряхнула седыми прядями Марья Ивановна. — Эта грамота мне на вечную память. На всю жизнь. Единственная...

“СТИХИ НА СЛУЧАЙ... СОХРАНИЛИСЬ...”

(А.С.Пушкин).

Мы подружились уже будучи вольными, вскоре после освобождения. Я начинал работать в воркутинском театре кукол, он — Александр Эдуардович Мейер-Белов — заканчивал в драматическом. Александр Эдуардович был старше меня на четверть века с лишним. Частенько приходил я к нему в уцелевшую после недавнего пожара закулисную часть дотла сгоревшего драматического театра. Там, в крохотной гримборной, являвшейся чем-то вроде театральной библиотеки, а точнее — хранилищем пыльных рукописей пьес, выписываемых из отдела распространения, мы частенько засиживались. Эта каморка служила ему кабинетом, как нештатному заведующему литературной частью и помощнику режиссера. Кроме последней должности он еще подрабатывал на выходных ролях. Скажет две-три фразы — и вся роль. Но уже должны оплатить.

Приютил его главный режиссер Николай Германович Гайдаров, человек с юмором, добрый, умный и независимый в суждениях. Под его крылышком спасались от нищеты и голода некоторые только-только освободившиеся из лагеря интеллигенты, бывшие работники театров. Сам он влюбился в одну из освободившихся актрис. На свой риск и страх Николай Германович, меряя людей не по анкетам, а по деловым качествам, приютил даже иных заключенных, имевших пропуски на право выхода за зону или проживавших вне лагеря, но под ежедневным контролем режимного на-

чальства. Встречались среди “подопечных” Гайдарова лица свободные, но не имевшие права выезда из Воркуты или Коми АССР. К таким, между прочим, относился заведующий постановочной частью театра милейший сорокапятилетний француз Марсель, стройный, всегда аккуратный, чисто выбритый, вежливый, внимательный, хотя глуховатый и, конечно, немногословный, благо кроме меня и еще одного-двух лиц он ни с кем не мог переброситься даже простыми фразами на родном языке. Зато Марсель великолепно понимал и четко выполнял указания режиссера. Каким путем француз очутился в Воркуте, трудно сказать. То ли служил в эскадрилье “Нормандия”, попал в плен, а затем был освобожден нашими войсками, то ли еще что другое. Об этом никто не распространялся, а выяснять казалось неудобным. Где-то в году пятьдесят седьмом Марселя удалось вытребовать на родину и общительный Гайдаров уверял, что, поймав под Новый год радиопередачу из Франции, “слышал своими ушами”, как там Марсель поднял тост за здоровье своих далеких друзей в Воркуте.

Мейеру и мне почему-то еще долго не хватало молчаливого француза, одно присутствие которого оживляло наши чисто чайные застолья в каморке помрежа.

Александр Эдуардович много читал, любил поэзию, писал стихотворные связки к концертным номерам, остроумные частушки и коротенькие басни в стиле Козьмы Пруtkова.

Я уже печатался в городской газете “Заполярье” и упорно пытался протолкнуть на ее полосы миниатюры Мейера. С большим трудом раза два мне удалось это сделать. До сих пор не понимаю, что заставляло

редакцию так настороженно относиться к нему. Я тогда еще не был реабилитирован, хотя судимость и правовые ограничения, включая запрет на выезд из Заполярья, с меня были сняты. Возможно, существование этих ограничений у Мейера и служило поводом для такой осторожности редакции.

После репетиций я частенько забегал “на чай” в остаток здания драматического театра к Мейеру. Его отрыв от современной литературы был меньше, чем у меня, так как он освободился раньше. Кроме того, он великолепно знал литературу предреволюционных лет и двадцатых годов, где попадалось немало имен, негодных Советской власти, а потому мне мало известных.

Высокий, сухой, сгорбленный, он тихонько, удостоверившись, что за дверью не подслушивают, читал мне и только кивавшему головой молчаливому Марселю, воспринимавшему, по-видимому, лишь могучую музыку стиха, отрывки из поэм Гумилева и многочисленные литературные пародии на популярных советских поэтов двадцатых годов. Политики мы не касались: все были ее жертвами.

Случилось как-то, что Александр Эдуардович не появился на своем месте раз, другой, третий. Я забеспокоился, но, вскоре узнав причину, только удивился. При встрече он мне сам объяснил: женился! Ему стукнуло 65, ей — около двадцати трех. Он объяснил, что жениться на старухе глупо: каждый будет занят своими “болячками”, а молодая сможет поухаживать за стариком. Я не посмел спорить. Но вскоре услышал, что Мейер в больнице. Через несколько дней после свадьбы жена потащила его... на танцы. Один раз он

пошел, другой раз — не захотел. Оба не пошли. В третий раз она убежала одна. Затем не ночевала дома. А запросы ее оказались куда выше скромных возможностей Мейера. Короче, он угодил в больницу, а потом, спасая остатки своих жалких сбережений, купил себе сносное зимнее пальто и... навсегда распростился с молодой женой. Тут подошло время и он вышел на пенсию. Так как годы, проведенные в заключении, в трудовой стаж не засчитывали, пенсия была маленькая. Но, привычный к лишениям, Александр Эдуардович, расходы которого в основном приходились на покупку книг, и ей обрадовался. Главное — ему разрешили выезд за пределы Коми АССР, но без права проживания в крупных городах, республиканских, краевых и областных центрах. Он выбрал себе тихий провинциальный городок Переяславль-Залесский, известный тем, что некогда в нем сиживал Александр Невский. Переехав туда со всем своим имуществом, состоявшим исключительно из книг, Мейер-Белов успел еще прожить всего около двух лет и за это время дважды неудачно жениться. Третья жена уже известила меня о его смерти. Интеллигентный, интересный человек, сломанный жизнью, безусловно одаренный, но неудачник.

В конце января 1961 года я получил от него последнее письмо. Он опасался, что у него рак горла. Увы, оказался рак желудка. В последнем письме он прислал мне свое стихотворение, сочиненное, как позже выяснилось, за три дня до смерти: “15 января 1961 года.”

Ни венков не надо, ни оркестра,
Ни речей, ни вздохов! Ничего!
Закопайте и забудьте место,
Навсегда оставив одного.

И не тратьте денег на поминки,
Не губите выпивкой ребят.
Пусть на нашем озере кувшинки
Обо мне в тиши поговорят.
Прожил сколько надо и немало...
Для чего? Пожалуй, сам не знал.
Пусть конец приходит, как начало,
Ведь земля — начало всех начал.
Буду гнить на человеческой свалке,
Только жаль, что превратившись в тлен,
Не увижу, как цветут фиалки,
Не услышу арии Кармен.
Но зато, без мыслей и без боли,
Все узлы распугав до конца,
Буду я неподражаем в роли,
В бессловесной роли мертвеца...
Хочется в последнее мгновенье
Вспыхнуть ироническим огнем,
Чтоб себе промолвить в утешенье:
Отшумел!..

Довольно!...

Отдохнем...

Не буду касаться влияний, заметных в этом стихотворении. Но в его искренности сомневаться не приходится.

“Отшумел”... Каким же образом? Я его знал тихим, согнутым жизнью, только наличием юмора спасавшимся от безнадежности.

Происходил он из интеллигентной семьи, полунемец по происхождению, успел получить хорошее образование еще до Октябрьской революции. В семье все ув-

лекались литературой и театром. Младший сводный брат, Владимир Эдуардович Мейер, закончив в 1922 году училище Московского Малого театра, стал его ведущим актером, в 1937 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в роли Яго выступал постоянно с великим Остужевым-Отелло. А в начале 1940 года, опасаясь ареста, покончил с собой.

Дело в том, что к тому времени репрессировали Александра Эдуардовича, имевшего несчастье в первые послереволюционные годы увлекаться поэзией и даже помещать в газетах свои стихотворения по случаю первых успехов Советской власти.

Как-то во время гражданской войны, когда известный непредсказуемостью своей политики “батько” Махно вдруг стал на сторону Красной Армии и начал громить тылы белых, его бурно приветствовала большевистская пресса. Александру Эдуардовичу тогда предложили написать по этому случаю стихотворение в честь неожиданного союзника. Мейер, аккуратный и исполнительный, оперативно выполнил заказ редакции: в ближайшем номере одной из крупнейших центральных газет поместил соответствующее стихотворение. Оно оказалось во всех смыслах “этапным”...

Недели через полторы-две Махно повернул свои банды против Красной Армии.

Прошли годы. Давно закончилась гражданская война. Давно нет в живых Нестора Махно. Но... что написано пером, того не вырубить топором: “Стихи на случай сохранились”, как писал А.С.Пушкин. И в поисках “невьявленных врагов народа” в конце тридцатых годов кто-то, роясь в подшивках старых газет, нашел вирши Александра Эдуардовича. Последнего без тру-

да разыскали, обвинили в анархизме, в восхвалении Махно и махновщины и осудили, по счастью, сперва всего на пять лет. И начались злключения по пере-сылкам и этапам (стихотворение-таки оказалось “этап-ным”). Началась Великая Отечественная война и по-дошел конец срока Мейера. Тут ему предложили рас-писаться в том, что ему добавлено еще пять лет... По-том — еще, “до особого распоряжения”... Побывал “от-зывчивый автор” в лагерях разных концов нашей ве-ликой страны, перемерял ее этапами вдоль и поперек, пока этапом же не очутился в Воркуте, где, наконец, освободился без права выезда и только по доброте Николая Германовича Гайдарова смог устроиться на работу по силам в драматическом театре.

Я всегда тепло вспоминаю тихого остроумного со-беседника, эрудированного критика, обаятельного че-ловека Мейера-Белова. Но когда с грустью думаю о его несложившейся жизни, невольно на ум приходят иронические строки Пушкина: “Стихи на случай со-хранились”...

Эх, лучше бы не сохранились!..

БУХШТАБЕ-РЕНКО

(Немного о евреях в ГУЛАГе)

Можно сказать, что первые семь с лишним лет своего заключения евреев, попавших в лагерь или тюрьму по моей статье — пятьдесят восемь, пункт один “б” (измена Родине военнослужащего — пособ-ника гитлеризма) — я не встречал. Тот, кто недолгое время был со мною в одной общей камере в Кировс-174

кой пересыльной тюрьме и Иосиф Корсунский, как мне известно, находившийся в Александровском центре, получили свои каторжные сроки по закону от седьмого августа 1932 года (растрата социалистической собственности). В сорок четвертом году на пересылках встречались евреи-малосрочники, отбывавшие наказания по пятьдесят восьмой статье пункт десять (антисоветская агитация) или по бытовым статьям. Положение единственного “пособника фашистов”, полноценного “врага народа”, как я раньше уже писал, приносило мне немало неприятностей, обусловленных в большинстве настроением той массы, в которой я находился. Были и такие, что утверждали: да вовсе он не был ни в плену, ни на фронте, а в Ташкенте где-нибудь проворовался, торгуючи, за то и срок получил. Моя правдивая история о чудесном спасении в плену и бегстве из плена у многих вызывала скептическую улыбку. Были и такие “знатоки”, кто утверждал, что попадись я им на глаза на оккупированной территории, они бы сразу признали во мне еврея и я бы больше не коптил небо...

С подобными “знатоками” мне не раз случалось встречаться, когда я был в плену, и все они старались мне угодать, хотя я никогда никого об этом не просил. А угождали подобные низкие души потому, что я владел немецким языком и им казалось, что я имею власть, несмотря на то, что оставался простым военнопленным.

В Сиблаге я также был единственным представителем еврейского народа на обе каторжные зоны и на соседнюю зону бытовиков-уголовников. Короче, я успел привыкнуть к мысли о том, что являюсь единствен-

ным евреем, которому удалось скрыть свое происхождение в плену и так и убежать из плена неузнанным.

В Воркуте я узнал, что в лагерях усиленного режима (начинался пятьдесят первый год) содержится немало евреев-”космополитов”. Но то уже совсем другая статья.

В ОЛПе двадцать шестой шахты Воркуты я опять же был в единственном числе. Но уже там познакомился с каторжником Шульгиным, еврейского происхождения, но не обрезанным, а потому довольно легко скрывшим свое происхождение в плену, а так как он не убежал, а был освобожден, то избежал многих глупых и роковых вопросов от следователей.

Впоследствии я узнал, что еще один еврей по фамилии Маранцман, правда, необрезанный, сумел отделаться небольшим сроком, побывав в плену и в бельгийском сопротивлении. Последнее обстоятельство помогло его реабилитации в конце пятидесятых годов: о нем написали в Бельгии, а тут уже неудобно было не признать того, что написано за рубежом.

Но вот я оказался на двадцать пятой шахте и сразу же познакомился с тремя евреями. Один из них, Ефим Абрамович Рисин, имел двадцать пять лет срока, но не каторги, а потому работал старшим культургом культурно-воспитательной части. Это был умнейший человек, участник войны, безоговорочно веривший в Сталина, а срок свой получивший за неосторожное поручительство за своего заместителя, который в Австрии перебежал со своей любовницей к американцам. Во всяком случае, так объяснял Ефим свое пребывание в лагере и, насколько я понял, успел побывать с различными партийными заданиями на Ближнем Вос-

токе, в Палестине и в Сирии, конечно, до войны. Только хорошее могу сказать об этом человеке, умном, честном, дельном, на редкость последовательном, умевшем выстроить свою речь с такой логической убедительностью, что оставалось только удивляться его уму. Он был сдержан, скромен и в то же время, несмотря на маленький рост, сразу внушал уважение. Но, будучи сталинцем (тогда), он вовсе не был упрямым. Когда к нам в ОЛП двадцать пятой шахты прибыл этап, в котором был немец-скрипач Артур Дреслер, с ним я успел подружиться на пересылке, я побежал к Ефиму просить за Артура.

Ефим вспыхнул: “Как можешь ты, испытывавший отношение немцев в плену, хлопотать за немца?! Замолчи! Пусть отправляется на общие работы!”

Но я не замолчал, постарался убедить Ефима, познакомил его с Артуром, а последний был удивительно обаятельным молодым человеком и чистота его помыслов была написана на его открытом симпатичном лице и светилась в его ясных глазах. Ефим уступил. Побежал в плановую часть к Александру Владимировичу Баку (впоследствии оказалось, что он тоже еврей, но об этом даже в лагере каторжники и заключенные не знали). Бак сумел пристроить Артура при культурно-воспитательной части. Скрипач был спасен.

В том же ОЛПе двадцать пятой шахты отбывал свои пятнадцать лет срока врач из Одессы Антон Викторович Лесничий, широко образованный человек. Уже после войны он неосторожно высказался о некоторых особенностях оккупации Одессы, где в те годы работал, и очутился в Воркуте. Антон Викторович, кажется, имел не очень прямое отношение к еврейским кор-

ням. В свое время он закончил два курса консерватории по классу вокала (у него был отличный баритональный бас), а уже потом закончил медицинский институт. Лесничий свободно владел, кроме латыни и греческого, французским, немецким и английским языками, а также итальянским и украинским. Он был начитан, отлично знал историю, литературу, философию, музыку. Остается только удивляться, что при своих феноменальных знаниях и способностях он оказался в Воркутлаге, а не в Речлаге (лагере усиленного режима), куда направляли обычно всех “космополитов” и вообще наиболее образованных людей.

Об Александре Владимировиче Баке я писал (смотрите новеллу “Генеральские лампы”). Антон Викторович — отличный врач, пользовался уважением и каторжников, и вольнонаемных, нередко обращавшихся к нему за квалифицированной медицинской помощью.

Вместе с бухгалтером Николаем Смокиным, еще одним ленинградским профессором (забыл его фамилию, но он не был каторжником), инженерами Акимовым, Чумаковым и шахтером-аккордеонистом Петей Клименко мы как бы образовали свой кружок, встречаясь вечерами в библиотеке КВЧ и беседуя друг с другом без страха, что кто-либо донесет.

К нашему кружку, хотя и не участвуя в спорах, примыкал еще один молодой каторжник. О нем-то я и хочу рассказать.

Сереза, так он себя называл и никто не пытался спросить о его настоящем имени (ведь и ко мне все призывали, как к “Сашке”, хотя по имени от рождения я Рафаил и это имя всегда произносилось на вечерних и утренних проверках. Но кому до этого дело; хочешь

называться Сашкой или Сергеем — будь по-твоему).

Сергей, а фамилия у него была Бухштабер, работал в санчасти зубным техником. Он был моложе любого из нас. В пятьдесят первом году ему едва минуло двадцать два или двадцать три года. Он любил читать, охотно присутствовал при литературных спорах, но никогда не вмешивался. Обладая отличным музыкальным слухом, он научился играть на аккордеоне и даже участвовал в концертах.

Обращались к нему буквально все и, насколько помню, никому он не отказывал в помощи, если, конечно, это было в его силах.

Как-то Сергей участвовал в концерте в составе трио — Онищук, Клименко и он. Вел концерт я и, когда подошла очередь их номера, объявил: “Выступают три “О” — и пояснил: Онищук, КлименкО и...” — тут последовала пауза, после чего я выпалил: “и БухштаберенкО!” В зале все знали всех и расхохотались, а за Сережей закрепилось дружеское прозвище “Бухштаберенко”.

Десны мои, неоднократно затронутые цингой, были слабыми, что отражалось, естественно, на зубах. К пятьдесят четвертому году два мои передних нижних зуба еле держались и пошатывались. Вот-вот они должны были выпасть.

Весной пятьдесят четвертого года, когда впервые в составе центральной артистической культбригады я приехал для выступления в родной ОЛП двадцать пятой шахты, я успел перед концертом сказать об этом прибежавшему на встречу со мной Сергею. Он быстро метнулся в свою амбулаторию, вернулся, снял гипсом или чем еще, не знаю, слепок с моих зубов и ушел.

После концерта, зайдя за кулисы, он быстро поставил мне две коронки на мои злосчастные передние зубы.

Дорогие читатели, это единственные зубы, которые удалось спасти. Впоследствии мне ставили коронки на другие зубы, менее подверженные распаду, но сохранить их не удалось. Всегда, когда я взглядываю в зеркало, что происходит ныне все реже и реже, я с благодарностью и восхищением вспоминаю Сережу Бухштабера, скромного, молчаливого, работающего, не боявшегося никакого труда.

Каким образом он научился всему? Когда успел? Увы, на эти вопросы точного ответа дать не смогу. Знаю, что привезли его этапом, что начал он работать в шахте, там стал слесарем, потом перевели его на работу в механический цех.

Сергей находил особый вкус в работе и стремился сделать ее, не просто выполняя плановое задание, а как получше.

Постепенно он овладел специальностью токаря, электрослесаря. Никто не умел так быстро и точно, как он, определить причину и место поломки механизма, так быстро найти выход из положения, починить и заставить, казалось бы, уже отслужившую свой век машину работать заново — и безукоризненно.

Возможно, случайно, видя его виртуозное владение инструментами, обратил на него внимание какой-либо каторжник-дантист или зубной врач. Ко времени нашего знакомства Сергей уже ставил не только коронки, но и лечил зубы, изготавливал зубные протезы — и все замечательно.

Когда в начале пятидесят третьего года во время так называемого “дела врачей” в лагере начальство взя-

лось за евреев, Сергея никто и не подумал тронуть: все начальство, все жены начальников лечили и ставили зубы у него, мастера, не имевшего никакого диплома. Да и когда он мог его получить? Где?

Остался он жив во время оккупации каким-то чудом. Достаточно было только взглянуть на него — и сразу видно — еврей. Черный, нос с горбинкой, волосы вьющиеся, глаза грустные, даже когда он смеялся. Говорил Сергей с акцентом. Правда, акцент немного смахивал на украинский.

Да и повадки, как говорят, у него были еврейские. Немецкого языка он не знал, а еврейский жаргон знал и полагал, что это и есть немецкий язык. Во всяком случае, нечто подобное он мог думать. Каторжный срок он имел пятнадцать лет по статье пятьдесят восемь пункт один “а” (измена Родине гражданского лица).

В чем же заключалась “измена” и почему он, вместо того, чтобы быть убитым оккупантами, остался в живых и познал Воркуту?

Подробно расспрашивать Сергея о причинах его попадания за проволоку и ранее бывших с ним злоключений не стоило. Может быть, грусть в его глазах постоянно отражала те переживания, которые выпали ему на долю в отроческие годы.

Он был родом из-под Харькова или другого, менее известного украинского города. Когда немцы заняли этот городок, вся семья Сергея погибла. Их куда-то погнали и, как выяснилось потом, расстреляли. Сергею удалось с дороги бежать. Кто его надомил — отец или тот, кого гнали с ним рядом, не знаю. Но мальчишка сбежал. Шел ему тогда четырнадцатый год. Сбежал и

шлялся, голодный, собираясь по немецким тылам, а то и выпрашивая у немцев чего-нибудь поесть.

Сергей вообще-то походил больше на цыганенка, чем на еврея. Но ведь и цыган ждала та же участь, что и евреев. Однако, свет не без добрых людей. Каким-то образом во время своих скитаний Сергеем удалось пристроиться к немецкой полевой кухне. Точнее, его немцы оставили при ней: нужен же паренек, расторопный, услужливый, смышленный, который и дрова пилит и колет, и воду носит — короче, во всем может помочь.

Так Сергей прижился при немецкой полевой кухне. Немцы относились к нему хорошо. Он сказал, что по национальности украинец, и ему поверили (среди украинцев тоже достаточно чернявых, черных и кудрявых). Думаю, у Сергея возникало немало всяких рискованных положений и приключений, связанных с необходимостью скрывать свою национальность, в том числе миновать медицинские осмотры, и он, как я, находился в объятиях смерти и не раз только чудом избегал ее. Немцы привязались к нему, а он — к ним. При этой полевой кухне он чувствовал себя защищенным. Его кормили, а когда наступил конец сорок второго года, на него надели форму “хиви” (“хильвс-виллигер” — добровольный помощник (букв.) и о происхождении уже речи не было: раз в форме, похожей на немецкую, значит, не еврей. Свое настоящее имя он уже старался не вспоминать: радовался, что еще в живых остался.

Настоящее имя Бухштабера я так и не могу вспомнить. Помню, что не Сергей, а позамысловатее...

Так сложились обстоятельства, что Бухштаберу довелось отступить с немцами и только в феврале сорок

пятого года, когда освободили Будапешт, где-то возле него Сергей попал к нашим вместе с немцами, державшими его при полевой кухне.

К тому времени Бухштаберу стукнуло семнадцать лет и военный трибунал присудил его, как “идейного пособника гитлеровцев”, к пятнадцати годам каторжных работ.

Так юноша очутился в Воркуте. Имея золотые руки, он там стал также замечательным часовщиком и вообще не было такого ремесла, которым бы он не владел.

Знаю, что после освобождения из лагеря он женился на кубанской казачке, жил в станице, где пользовался всеобщей любовью, практикуя по зубной части. Однако, отсутствие диплома вскоре дало себя знать, ему запретили практику. То же произошло с его увлечением починкой часов. На все эти занятия требовались дипломы и, несмотря на то, что Сергей владел искусством куда лучше дипломированных специалистов, ему пришлось трудно. Поработав некоторое время даже парикмахером, он стал трудиться в каком-то механическом цехе, где завоевал авторитет своим искусством, добросовестностью и неутомимостью. Аккордеон, конечно, пришлось забросить. Семейные заботы занимали все больше места в его жизни. Но, уверен, он, как и мы, всегда помнит те времена, когда со сцены звучало “Бухштабе-ренко!” — и выходил, пряча смущенную улыбку, молоденький чернявый дантист, мастер на все руки Сергей, прошедший огонь и воду в свои отроческие и юношеские годы. Его поныне вспоминают добром его многочисленные пациенты и клиенты.

ВОРКУТА ТЕАТРАЛЬНАЯ

(Отдельные наброски)

*Памяти Григория Марковича Литинского,
отдавшего театру Воркуты 11 лет
(1944—1955 гг.)*

С Г.М.Литинским я познакомился в начале декабря 1956 года, через несколько дней после получения паспорта, в редакции газеты “Заполярье” (Воркута). Он был одним из основателей литературного объединения при редакции, которое вскоре суждено было возглавить мне. Образованность и благожелательность, страстная влюбленность в театр, бескомпромиссность в суждениях об искусстве, в оценках явлений литературы в сочетании с глубочайшей человеческой порядочностью сразу привлекали к Григорию Марковичу. Он благословил тогда же мои первые поэтические опыты. В дальнейшем мы стали друзьями и, когда весной 1956 года он уехал в Москву, наши контакты продолжались непрерывно. Переписка и при всяком приезде в Москву посещение Литинского стали как бы потребностью. Мне довелось быть посредником во время долгих переговоров Литинского с Воркутинским театром, а затем и краеведческим музеем, куда в конце концов за мизерное вознаграждение Григорий Маркович передал свои записки и материалы о первом, самом плодотворном и сложном периоде истории театра Воркуты, которому в декабре 1993 года исполнилось полвека.

Г.М. Литинский работал в редакции журнала “Театр” и постоянно был в курсе всех примечательных

явлений драматургии и сцены. Превосходный журналист и театровед, он был также драматургом. Написанная им еще во время пребывания в Воркуте историческая пьеса “Иван Куратов” (“Уездный плен”) была переведена на коми язык и в 1960 году поставлена в Сыктывкаре И.И. Аврамовым и И.М. Гайсинским в Республиканском музыкально-драматическом театре. Литинский никогда не забывал своих товарищей по Заполярью и живо интересовался его театральной жизнью.

Кое-что из рассказанного мне Г.М. Литинским, а также другие факты, известные мне (в 1951—1955 гг. я находился в Воркутлаге) я хочу описать.

Не знаю, будет ли когда-нибудь открыт специальный музей искусства за колючей проволокой, но считаю, что таковой необходим, ибо именно в экстремальных, невероятных условиях той жизни, которую потомки будут кое-как представлять лишь по литературным произведениям да сухим историческим данным, искусство, в частности театральное, играло выдающуюся роль, являлось стимулом жизни и выживания, постоянным напоминанием о существовании других условий бытия и человеческих отношений. Поэтому параллельно с официально признанным воркутинским театром я буду не раз касаться того особого театра, который, пусть на правах самодеятельного, существовал в многочисленных каторжных зонах, куда по режимным правилам театр профессиональный не заглядывал, и где профессиональные и самодеятельные режиссеры и актеры, осужденные на безнадежно длительные и жестокие меры наказания, после тяжелого трудового дня находили в себе силы и вдохновение поддерживать то-

варищей по несчастью и самих себя сценическим искусством.

В этих набросках я намерен также коснуться доселе закрытых страниц истории Центральной культбригады политотдела Воркутлага и корней происхождения воркутинского театра кукол.

А сперва — о том воркутинском театре, который родился как музыкально-драматический, а потом уже, с 1952 года, стал просто драматическим, о театре, в котором замечательным завлитом и энтузиастом-администратором был театральный критик, очеркист Г.М.Литинский, доставленный в Воркуту, как и его товарищи по сцене, “по этапу”...

Часть 1.

Музыкально-драматический театр

Официальная летопись обширного Коми края, подслащенная немногими именами дореволюционных интеллигентов, по монаршей милости вынужденных в ссылке приобщать коренных жителей к передовой русской культуре, до недавнего времени скромно умалчивала о многочисленных именах тех, кто продолжал благородное дело старых просветителей (в более широком масштабе) в 30—40-е годы нашего столетия...

Тогда густая сеть лагерей покрывала территорию Коми АССР и, полагая, уместно вспомнить хотя бы отдельные имена некоторых представителей культуры и искусства, создававших “закрытые” и “полузакрытые” театры, то есть доступные лишь населению дан-

ного лагеря и его охраны или же вольнонаемным рабочим и жителям отдельных районов земли Коми.

Так в поселках нефтяников Ухты, получившей статус города в 1943 году, “волею судеб” оказались, например, к началу войны 1941—1945 гг. замечательный киноактер и режиссер К. В. Эггерт (основанием для ареста служило его немецкое происхождение); освободившийся перед самой войной, впоследствии дважды лауреат Сталинской премии, заслуженный артист РСФСР М. М. Названов, а сразу после войны — дирижер В. М. Каплун-Владимирский (учился в консерватории С.-Петербурга при К. Глазунове еще до 1914 года), исключительно музыкальная московская красавица актриса З. Корнева, харьковские артисты супруги Гирняк, отказавшиеся подписать клеветническое “коллективное письмо-заявление” против художественного руководителя театра “Березиль” замечательного украинского режиссера Леся Курбаса, вскоре погибшего за колючей проволокой. Были там опереточники — сестры Радунские, московская балерина Н. А. Генчель с мужем, артистом Н. Н. Массальским, писатели М. Грин, О. Вишня, Лев Разгон и другие. Упомянутые находились в Ухт-Печлаге и в Ухт-Ижемлаге.

В Ухте театр заключенных и почти одновременно с ним колхозно-совхозный театр начали функционировать еще накануне войны, а с 1943 года вместо колхозно-совхозного начал работать также филиал Коми республиканского драматического театра, закрытый лишь после окончания войны.

Известно, что театры заключенных были в Инте, где после войны руководил и выступал знаменитый исполнитель партии Германа в “Пиковой даме” народный

артист РСФСР, лауреат Сталинской премии, великий певец и актер Н.К. Печковский, недавний кумир Ленинграда. В Инте же были киевская балерина Т. Вараксо, дирижер Н.П.Клаус — будущий главный дирижер Республиканского музыкально-драматического театра в Сыктывкаре и композитор А. Ордынец, впоследствии основатель детской музыкальной школы в Инте. В ней же отбывали свои сроки известные кино-сценаристы Дунский и Фрид.

В Абези, ныне маленькой станции, а некогда центре большой системы северных лагерей, также был свой театр. В нем участвовали как заключенные, так и вольнонаемные артисты (например, тогда молодая И.М. Старцева, в будущем известный деятель коми искусства). В Абези находилось немало заключенных-интеллигентов. Там лишь недавно удалось найти, наконец, могилу бывшего заключенного философа Карсавина, брата знаменитой балерины. В театре Абези был И.И. Шнайдер, друг С. Есенина и А. Дункан, руководивший в Москве школой-студией, а затем и театром-студией имени Айседоры Дункан. Из поселка Кожва театр заключенных, пополненный новыми артистами, перешел в Печору, где в 1945 году в специально выстроенном здании (в нем теперь Центральный дом культуры железнодорожников и открыта мемориальная доска о театре “Печорлага”) стационарировался музыкально-драматический театр, в составе которого были в основном заключенные.

По всей Печорской магистрали разъезжал передвижной театрально-эстрадный коллектив (ТЭК), базировавшийся в Княж-Погосте. Руководил ТЭК сперва замечательный эрудит, режиссер А.О.Гавронский, а по-

том другой заключенный — первый коми национальный режиссер Б.П.Семячков. В ТЭК начинала свой артистический путь Т.В.Петкевич, оставившая замечательные воспоминания о своих учителях и товарищах по театрално-эстрадному коллективу (ТЭК) послевоенных лет.

Возглавляемая заслуженной артисткой Грузинской ССР Т.Г. Цулукидзе, женой знаменитого режиссера А.В. Ахметели, имелась при Княжногостском политотделе также группа кукольников, обслуживавшая детей вольнонаемного персонала железной дороги.

Этот список можно продолжить. Но сейчас речь о Воркуте.

Воркута, отправившая первый эшелон угля блокированному Ленинграду в декабре 1941 года, в силу своей отдаленности, отсутствия до 1942 года регулярного железнодорожного сообщения, крайне тяжелых климатических условий, в тридцатые годы, когда в этот заполярный край стали поступать первые этапы репрессированных, оказалась в особом положении.

Страна крайне нуждалась в воркутинском угле (Донбасс был оккупирован и его шахты бездействовали) и этим также можно объяснить своеобразную “автономность” так называемого Воркутстроя. Туда даже колючую проволоку сперва доставляли в недостаточном количестве. Несмотря на произвол бесконтрольного по существу начальства и уголовников, перед самой войной режим был значительно слабее, чем в лагерях Сибири и Дальнего Востока. Вольнонаемные (их были единицы и обычно из числа освободившихся заключенных) и заключенные по условиям жизни сперва мало различались. Тем и другим выбраться из заполярного

царства тундры куда-либо южнее было слишком не просто. Сперва даже не было четкого деления на мужские и женские зоны (жили в разных бараках - и все). Но... постепенно лагерь "благоустроивался" и между вольными и невольными строителями заполярной кочегарки поднималась стена.

Известно, что в сентябре 1938 года первым старостой одного из первых драматических кружков Воркуты стал молодой энергетик А. Скороход. За несколько лет до открытия профессионального театра любители и уже "доставленные" в Заполярье профессиональные актеры, затем вошедшие в труппу театра, поставили "Платон Кречет" А.Корнейчука, "Чужой ребенок" В.Шкваркина, "Доходное место" А.Островского и другие спектакли.

В этом драматическом коллективе участвовали также жены начальников охраны. Некоторые из них — В.М.Пясковская, Н.И.Глебова — впоследствии стали украшением профессиональной труппы.

Целесообразность и возможность ее организации стали ощутимы, когда в начале 1942 года в Заполярье по новой железнодорожной магистрали стали один за другим прибывать регулярно эшелоны, заполненные "врагами народа".

В их числе привезли заслуженного артиста РСФСР, главного режиссера Большого театра, руководителя кафедры сценического мастерства Московской консерватории, профессора Бориса Аркадьевича Мордвинова, ученика и соратника К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Борису Аркадьевичу тогда шел сорок третий год. Полный энергии, страстный, увлекающийся и умею-

ший увлечь своими замыслами других, режиссер, актер и театральный педагог, разносторонне образованный, он явился той фигурой, которой суждено было открыть историю профессионального театра Воркуты.

Возглавлял Воркутстрой тогда инженер-полковник (впоследствии генерал-майор) Михаил Митрофанович Мальцев, большой любитель искусства, также отлично понимавший, как тогда говорили, его “мобилизующую роль” в вопросах стимулирования, повышения эффективности производства и производительности труда.

М.М.Мальцев, являясь неограниченным хозяином Воркуты, пользовался большим авторитетом, отличался самостоятельностью мышления и, в определенной степени, гражданской смелостью. Едва узнав о приезде Мордвинова, он вызвал его к себе и долго с ним беседовал. Мальцев приказал ускорить темпы уже начатой перестройки имевшегося клуба под театр. Мальцев сразу же заявил Борису Аркадьевичу, что полностью доверяет ему, его художественному вкусу и будет его поддерживать во всех вопросах комплектования труппы, художественных, административных и организационных. Мордвинову разрешили жить вне лагерной зоны, дали пропуск и возможность знакомиться с художественной самодеятельностью воркутинских лагерей и отбирать в состав труппы организуемого театра тех, кого он считает нужным.

Это был энтузиазм! Премьера (решили начать с “Сильвы”) готовилась анекдотически: нот не было. А к двадцать шестой годовщине Октября и предстоящему (Мальцев уже знал) присвоению Воркуте статуса города требовалась премьера.

И тут Наталья Ивановна Глебова, игравшая ранее в Ростовском музыкальном театре, по слуху (!), начиная с увертюры, напела пианисту А.К.Стояно всю оперетту! Стояно тут же записывал ноты — и клавиры был готов. Вскоре “доставленный” в Воркуту московский дирижер В.В. Микошо написал партитуру.

Собранные по лагпунктам оркестранты разучивают партии. Концертмейстер Стояно занимается с вокалистами. Художник по фамилии Буря разрисовывает декорации. Шьют костюмы. Готовят реквизит.

1 октября 1943 года — премьера. Зал переполнен. Лучшие горняки, строители и, конечно, обеспечивающее трудовой энтузиазм начальство — первые зрители заполярного театра. Заслуженный успех! Он долго не покидает театра, попасть в который не так просто. Билеты почти не покупают — их достают. Билет становится стимулом для вольнонаемных рабочих, не говоря уже о расконвоируемых заключенных. Чтобы добыть право купить билет, надо хорошенько поработать.

В числе первых актеров — вольнонаемные Н.И. Глебова, В.М.Пясковская, супруги А.и О.Пилацкие, заключенные Борис Козин (брат известного певца, отбывавшего срок на Дальнем Востоке и в Магадане), С.Б.Кравец, московский бас Б.С.Дейнека — солист Всесоюзного радиокомитета, первый исполнитель песни “Широка страна моя родная” по радио.

Между прочим, из-за несовершенства тогдашней техники и плохих метеорологических условий Воркута в то время еле-еле слышала Всесоюзное радио (о телевидении еще речи не было) и театр сразу же стал единственным и главным очагом искусства Заполярья.

Пользуясь поддержкой Мальцева, а значит и всего высшего лагерного начальства, Мордвинов сумел создать по-настоящему синтетический театр. О его возможностях можно судить хотя бы по тому, что в течение года в военное время труппа давала на стационаре и в разъездах по ОЛПам до шестисот выступлений, состоявших из десятков концертных программ и 10—12 спектаклей. Кроме того, практиковались сольные концерты отдельных исполнителей — Б.С.Дейнеки, Н.И. Глебовой, И.С.Индра и др.

Музыкально-драматический театр стал гордостью и живительным нектаром Воркуты. Великолепные музыканты, вокалисты, артисты драмы, оперы, балета, оперетты, яркие эстрадные исполнители входили в труппу. В период расцвета она состояла из ста пятидесяти человек!

О “мертвой музыке”, в звукозаписи, тогда и не мечтали. Полноценный оркестр сопровождал все спектакли (дирижеры — композитор В.Микошо, М.Носырев — он же первая скрипка, другие великолепные музыканты-инструменталисты). Открывшись “Сильвой”, театр ставит затем “Перикола”, “Марицу”, драматические спектакли “Поздняя любовь” (по А.Островскому), “Хозяйка гостиницы” (по К.Гольдони), оперы “Фауст”, “Травиата”, “Севильский цирюльник”, “Риголетто”, “Паяц”, “Чио-Чио-сан”, “Евгений Онегин”, “Моцарт и Сальери”, акты из опер “Русалка”, “Иван Сусанин”, “Борис Годунов”, “Руслан и Людмила”, “Князь Игорь”, “Мазепа”...

Присоединенные к профессиональным артистам любители занимались актерским мастерством по учебной программе, разработанной под руководством Морд-

винова, а также набирались опыта, играя на сцене с представителями старшего поколения. Так стали впоследствии, уже за пределами Коми АССР, великолепными актерами О.О. и А.П.Пилацкие, Г.Я. Сеплярская, А.П.Выгорская; В.М.Плясковской и Н.И.Глебовой присвоили звание заслуженных артистов Коми АССР (заключенным и — после освобождения — не реабилитированным бывшим заключенным, независимо от заслуг, почетные звания в Коми АССР не присваивали, да и на реабилитированных в “краю лагерей” долго-долго еще смотрели как на “бывших”...). Кстати, Плясковская впоследствии получила звание заслуженной артистки РСФСР. В свой репертуарный список она уже через 4-5 лет работы на воркутинской сцене вписала партии Виолетты (“Травиата”) и Джильды (“Риголетто”), а Глебова — Маргариты (“Фауст”) и Татьяны (“Евгений Онегин”), Выгорская — Виолетты и Джильды и т.д. Вскоре после войны доставленная в Воркуту студентка Киевской консерватории В.М. Ищенко блестяще исполнила партии Наташи в “Русалке” и Жермен в “Корневильских колоколах”.

В репертуаре театра были также “Дочь Анго”, “Мадмуазель Нитуш”, “Цыганский барон”. “Сильва” прошла более ста раз. Ставили также оперетты советских композиторов.

С 1945 года главным художником театра стал Петр Эмильевич Бендель — выдающийся портретист и график. Мне лично довелось видеть выполненные им портреты, в частности, заслуженной артистки УССР З.В. Утехиной, а также ряда воркутинских начальников и их жен. Бендель стал театральным художником уже в Воркуте: Мордвинов, узнав, что замечательный

мастер прозябает в лагере за проволокой, рисуя надзирателей и охранников за кусок хлеба, через Мальцева привлек Бенделя к театру.

В нем, помимо Дейнеки, выделялись профессиональные певцы-баритоны Т.И.Рутковский (Ленинград), И.Каменский (Саратов), Головин; отличные опереточные актрисы и исполнительницы эстрадных песен Е.Волошина, Е.Белоусова, обе заключенные, впоследствии заслуженные артистки РСФСР; актрисы драмы К.Н.Рутковская (Ленинград), Е.М.Михайлова (Московский Малый театр). Сразу после войны труппа пополнилась новыми “малосрочниками”, имевшими срок наказания не свыше 10 лет по пятьдесят восьмой статье, талантливыми московскими артистами В.Г.Токарской и Р.М.Холодовым, Н.Д.Фоминым (Одесса), супругами Харламовыми.

В первые годы работы театра в его деятельности принимал активное участие А.Я. Каплер — лауреат Сталинской премии, автор сценариев “Ленин в Октябре”, “Ленин в восемнадцатом году”, драматург. Каплер помогал Мордвинову в составлении концертных программ, писал связующие тексты между номерами, а затем занялся фотографией. Освободившись, он имел неосторожность появиться на сутки в Москве, куда выезд ему был запрещен, и сразу же его вновь водворили в лагерь, но на сей раз уже в Инту, где ему пришлось значительно хуже, чем у Мальцева в Воркуте.

Правой рукой Мордвинова по административной и репертуарной части был московский журналист и театровед Г.М.Литгинский. Доныне его пьеса “Уездный плен” (“Иван Куратов”) остается единственной, посвященной основоположнику коми национальной лите-

ратуры поэту и просветителю. Впоследствии, как уже писалось, Григорий Маркович работал в редакции журнала “Театр” (Москва).

В своих воспоминаниях, описывая первые сезоны воркутинского театра, Литинский не без юмора отмечал: “Странная смесь из вольнонаемных и заключенных здесь никого не удивляет... Привыкли, что из зоны под конвоем приводят Президента-зека (“Коварство и любовь”. Прим.А.К.), а вольнонаемный скрипач Миллер — его подкармливает... В зале странная публика. Сидят в строгом соответствии со званием, у каждого свое определенное место, как в помещицкой церкви. О продвижении по службе можно судить по тому, как меняется место человека в партере... Администратор не рискует пускать в продажу “бронированные места”, покамест не обзвонит их владельцев. Начальник любит театр, как отец своего первенца, и не прощает равнодушия к нему. Когда в театре дела плохи, администратор пускает слух, будто “сам” собирается сегодня в театр, и тогда зал бывает полон... Впрочем, к этому сильнодействующему средству редко приходится прибегать. Здесь привыкли ходить в театр, как в кафе — каждый вечер. Прослушивают любимую арию и возвращаются в буфет, где утоляют жажду шампанским. Начальство покрупнее оккупировало кабинет администратора, им носят туда выпивку и закуску.” (цит. по ст. Е.Б.Галинской “Театр за полярным кругом”, в сб. “Родники пармы.” Сыктывкар, 1990). Однако, в личной беседе со мной Григорий Маркович уточнял, что когда в зале присутствовал “сам” Мальцев, его подчиненные не решались “бегать по буфетам”, ибо “шеф” не прощал неуважения к своему детищу.

Первые годы выступления театра регулярно освещали в местной газете “Заполярная кочегарка”, но затем, “по указанию свыше”, фамилии заключенных-участников спектакля упоминать запретили. Пытались также запретить аплодировать артистам-заключенным. Но публика регулярно нарушала эти запреты, хотя более, чем наполовину, состояла из охранников и лагерного начальства разных рангов. Конечно, первыми нарушителями инструкций были женщины-зрительницы, жены начальников и вольнонаемных руководителей шахтного производства.

Занавес закрывался. Вольнонаемные актеры, невзирая на запрет “вступать в контакты с врагами народа”, тепло прощались со своими партнерами по сцене и расходились по домам. А заключенных артистов конвоиры собирали, пересчитывали и вновь отводили в зону, за колючую проволоку, где после проверки разводили по баракам, женщин — в одни, мужчин — в другие. Иногда мужчин и женщин из театра размещали в разных лагерных зонах.

Когда актеры были на сцене, они забывали о постоянном чувстве голода, о своем бесправнии, о конвое, поджидавшем их с овчарками у служебного входа.

Театр выступал в основном перед вольнонаемными рабочими и служащими. Многие из них были ссыльными или уже отбыли различные сроки наказания, но не имели права выезда из Воркуты. Парадоксально при этом положение высланных в Заполярье немцев. Их покарали исключительно за то, что они были немцами. Большинство из них поселили в поселке шахты № 4 (поселок так и называли “немецкий”). Немцы числились вольными гражданами, хотя доставили их, “как

положено”, в теплушках и под конвоем. Они имели право голоса, были даже членами КПСС, секретарями партийных и комсомольских организаций, председателями профсоюзных комитетов, но... даже на время летнего отпуска не имели права выезда за пределы Воркуты...

Из числа таких ссыльных немцев в театре были молодые танцовщицы Маргарита (по мужу затем — Бичай) и Ада Рейзвих, исключительно талантливые. Ада выступала в паре с профессиональным танцором Борисом Тугановым, блестящим исполнителем и постановщиком танцев. Впоследствии Маргарита (по мужу уже Лаврова) стала заслуженной артисткой РСФСР. Многие дали танцевальной группе театра занятия под руководством опытного хореографа-балетмейстера Е.С.Добржанской, жены известного артиста театра и кино Сергея Мартинсона. Добржанская умерла в самом начале 1951 года. Через пять лет, едва разрешили приезд, в Воркуту приехал С.А.Мартинсон. Несмотря на то, что после его выступлений сами же офицеры Воркутлага помогали ему в поисках могилы супруги, могилу Е.С.Добржанской так и не нашли: в вечной мерзлоте в тундре быстро стирались номера на дощечках, которые, вместо крестов, на коротких колышках ставили на могилах заключенных.

Среди лучших драматических актеров театра были супруги Харламовы, прекрасные характерные актеры, а также Н.Д.Фомин, в прошлом, кажется, заслуженный артист РСФСР, умерший вскоре после реабилитации во время гастролей воркутинцев в Сыктывкаре в 1958 году заслуженным артистом Коми АССР.

В 1946 году освободившийся Мордвинов по пригла-

шению деятельной и энергичной С.М.Поповой, возглавлявшей Комитет по делам искусств Коми АССР, приехал в Сыктывкар, где поставил “Отелло”, “Бесприданницу” и “Самолет опаздывает на сутки” Рыбака и Савченко. Увы, по воспоминаниям народного артиста РСФСР и Коми АССР И.Н.Кривошеина, Мордвинов уже выглядел стариком (а ему было еще всего 47 лет), щеки у него нервно подергивались, одна рука плохо слушалась (запись воспоминаний И.Н.Кривошеина автором. 1985 год. Сыктывкар). Тем не менее, — вспоминал Кривошеин, — каждая встреча с Борисом Аркадьевичем становилась школой и праздником для актеров сыктывкарского театра. Сам И.Н.Кривошеин вышел на большую сценическую дорогу из самостоятельности Ухты, где начинал выступать под руководством заключенного, будущего дважды лауреата Сталинской премии М.М.Названова. Впоследствии ставший народным артистом СССР И.И.Аврамов признавался: “Только работа над ролью Яго в “Отелло” в постановке Б.А. Мордвинова вернула меня к былой уверенности” (Аврамов шесть лет был в армии)(цит. по кн. Люди театра коми. Сыктывкар, 1951. Под редакцией К.Л.Рудницкого).

В 1947 году в Воркуту привезли и вскоре приняли в труппу театра переводчицу и исполнительницу старинных романсов Т.И.Лещенко-Сухомлину, посвятившую пребыванию в Воркуте цикл из 17 стихотворений, которые она впоследствии исполняла в программах Центрального телевидения.

В театре начал свой путь голосистый молодой заключенный В.Балемба, тенор, впоследствии ставший премьером Киевского республиканского театра оперетты.

В Воркуте вскоре после Сыктывкара поставили в переводе с коми комедию “Свадьба с приданым” Н.Дьяконова с великолепным Р.Холодовым в роли Николая Курочкина.

К несчастью, Воркута и ее театр являлись “закрытыми” и с его постановками можно было познакомиться только на месте. Сперва театр выезжал лишь “в гости” к соседним лагерным управлениям — в Абезь, Инту, Печору. Потом “география” гастролей расширилась, но первый выезд в Сыктывкар состоялся уже в период “оттепели” во второй половине пятидесятых годов.

Едва закончилась война, как по приказу Мальцева в течение трех месяцев для театра построили новое уютное здание, в котором он работал до пожара 1957 года, а после него более тридцати лет ютился на правах бедного родственника во дворцах и домах культуры, пока несколько лет назад не въехал в переоборудованное для него бывшее здание дома политического просвещения.

Искусство театра активно влияло на всю атмосферу жизни заполярного города и угольного бассейна. Театр позволял людям, невольно оторванным от “большой земли”, ощущать ритм ее жизни, напоминал о человеческом достоинстве, будил надежды, увлекал прекрасным, призывал к благородству и доброте, безусловно способствовал созданию определенного тонуса для повышения производительности труда. Начальство лучше всего, конечно, понимало последнее. Но на театральной почве возникали серьезные конфликты между руководством лагеря, комбината “Воркутауголь”, с одной стороны, и начальством, ответственным за со-

блюдение строжайшего режима содержания заключенных, “не взирая на лица”. Пока “Воркутстрой” возглавлял авторитетный Мальцев, обходились без этих конфликтов или же они быстро пресекались. Но после отъезда Мальцева не раз, чтобы не срывать спектакли, культурно-воспитательному и политотделу Воркутлага приходилось “кланяться” режимникам, ходатайствуя о выдаче кому-либо из артистов пропуска или о досрочном освобождении из штрафного изолятора наказанного “за пререкания с надзирателем” или другие провинности какого-нибудь незаменимого исполнителя.

Использовать по специальности, в том числе в качестве артистов, что обычно связывалось с выдачей пропусков, разрешавших выход за зону без конвоя в дневное время на репетиции, позволяли только малосрочникам. А много ли было таких, осужденных по страшной 58-й статье не больше чем на 8-10 лет? Увы, среди артистов благонадежные советские люди, каковыми считались уголовники, попадались редко, разве что гомосексуалисты. А потому блюстителям режима приходилось мириться с “засильем” в театре пятьдесят восьмой статьи.

В конце сороковых — начале пятидесятых режим ужесточился. Почти всех заключенных из театра вновь загнали за проволоку. Не только на самих артистов, но и вообще на всех заполярников это произвело тяжелое впечатление. Очень тревожила режимников также “недопустимость совместного пребывания мужчин и женщин”, что неизбежно в театре.

Штат театра сократили. Теперь уже речи не могло быть о постановке балета. Чтобы как-то удовлетворить

бесперывные запросы из ОЛПов о “приезде артистов”, в 1951 году политотдел при посредстве культурно-воспитательного отдела создал бригаду из заключенных. В нее вошли Е. Белоусова, А. и Б. Тугановы, драматический актер Д. Шрагер, еще несколько человек. К сожалению, эта концертная группа еще до выезда потеряла прекрасных теноров Н. Синицына (бывший артист филиала Большого театра) и П. Горева, ученика знаменитого В. Козина. Их отчислили по режимным соображениям.

Бригада, которую возглавил Д. Шрагер, совершила турне по ОЛПам Воркутлага. В Речлаг, куда также отчислили некоторых из бывших артистов, бригаду не пустили. Каким бы талантом ни обладал артист, он оставался человеком подневольным, целиком зависимым от прихотей начальства.

Однако, в нарушение всяких инструкций, между вольными и невольными служителями муз и любителями искусства существовали постоянные контакты. Ведь в Воркуте даже после отбытия срока наказания оставалось большинство бывших заключенных, так как у одних освобождение сопровождалось оговоркой “без права выезда”, а другие не без оснований опасались, что после возвращения в родные места их постараятся снова водворить за решетку. Поэтому вольнонаемное население Воркуты увеличивалось и за счет “невъездных”. Как правило, среди них оставалось немало любителей искусства.

Среди постоянных зрителей театра были, например, заведующий баней И. М. Гронский (до заключения редактор газеты “Известия” и журнала “Новый мир”), строитель И. А. Малеев (бывший сотрудник “Комсо-

мольской правды”), известный московский архитектор А.Г.Басс, бывшие известные журналисты, художники, деятели науки. Зрительская культура требовала и культуры сценической — в игре, костюмировке, оформлении, выборе репертуара.

Естественно, что лучше всего к заключенным артистам относились женщины, иногда жены крупных начальников из системы Воркутлага, Речлага и комбината Воркутауголь. Не глядя на запреты, поклонницы талантов нередко передавали тайком артистам продукты питания, папиросы, дефицитные тогда лекарства, конфеты, считавшиеся роскошью предметы парфюмерии, в том числе туалетное мыло, пудру, духи.

Примечательна история оперетты “Сильва” на воркутинской сцене. Спектакль, впервые на ней поставленный Б.Мордвиновым, продолжал с успехом идти и после его отъезда в Сыктывкар. Ставший вместо Мордвинова режиссером В.В.Рыченко возобновил спектакль уже в своей редакции, но почти со всеми исполнителями первой. Сотое представление “Сильвы” (уже в художественном оформлении П.Э.Бенделя) стало общим городским праздником. В театр стремились попасть все жители. Конечно, спектакль повторили вновь и он остался в репертуаре. Но... сотый спектакль стал событием! На специально отпечатанных программах были отмечены исполнители-юбиляры: те, кто в сотый раз выступал в этом спектакле. Среди них мы читаем (по ролям): Князь Веглерсхейм — О.О.Пилацкий (участник всех ста спектаклей), Княгиня — А.П.Пилацкая (участница всех ста спектаклей), Стасси, племянница князя — В.М.Пясковская (участница всех 100 спектаклей), Бони, друг Эдвина — Б.А.Козин (участник всех

100 спектаклей) и т.д. Б.С. Дейнека в первом представлении не участвовал, потому, выступая в центральной роли Эдвина, отмечен без указания “участник всех 100 спектаклей”.

Среди декораторов мы видим на программе также Я.Я.Вундера, начинавшего свой путь заполярного художника и мастера художественной фотографии.

В 1945 году, уже зная о своем скором освобождении, Б.Мордвинов поручает постановку оперетты Стотгардта и Фримля “Роз-Мари” И.И.Востокову, который хорошо справился с работой при помощи режиссеров-заклученных К.В.Галицкой и А.А.Гольдбурт. Танцы в этой оперетте оригинально поставили Т.А.Галицкая и А.А.Гольдбурт, а новый текст для вставных номеров написала своя, воркутинская поэтесса А.Г.Зими́на. Т.А.Галицкая и сама выступила в спектакле в роли танцовщицы Ванды, жены индейца Черного Орла. Тогда, наряду с Г.Рутковским, Н.Глебовой и В.Пясковской, блеснули дарованиями молодая эмоциональная Е.Волошина (Жанна, невеста Германа) и недавно доставленный в Воркуту пожилой артист Н.Д.Фомин (Малон).

В.В.Рыченко был вольнонаемным, но беспартийным. Прямой и вспыльчивый, он нередко ссорился как с начальством, так и с артистами из числа вольнонаемных (заклученных Рыченко не обижал, зная, что иногда даже замечание режиссера может им принести нетеатральные неприятности).

В.В.Рыченко уехал в Ухту, где одно время возглавлял театр, состоявший из вольнонаемных и заклученных, и поставил там немало хороших спектаклей.

Вместо строптивного Рыченко пригласили на долж-

ность главного режиссера Н.И.Быкова, коммуниста, некогда начинавшего свой артистический путь в московском Камерном театре под руководством А.Я.Тайрова.

Быков, однако, в смысле своей прямоты и горячности оказался никак не мягче Рыченко, а так как был образованным интеллигентным человеком, то вступался, не боясь, за подвластных ему заключенных артистов. На этой почве не раз возникали конфликты. При М.М.Мальцеве восстановить справедливость и не давать артистов в обиду было нетрудно: Мальцев по-настоящему любил театр и дорожил его способными актерами, независимо от их положения. Но после отъезда Мальцева конфликты между театром и начальством, участились и нередко кончались не в пользу артистов и их заступника главного режиссера.

В.Рыченко впоследствии, уехав из Ухты, проживал в Котласе, где руководил художественной самодеятельностью и безуспешно пытался создать театр кукол. Н.И.Быков до глубокой старости жил в Воркуте, где последние годы работал режиссером на местном телевидении и умер, отпраздновав свое восьмидесятилетие.

Хочется отметить еще некоторые стороны деятельности воркутинского музыкально-драматического театра. Он стал могучим центром просвещения. При местном дворце (сперва доме) пионеров, с разрешения Мальцева, открыли музыкальные, хоровые, танцевальные кружки, в которых преподавали заключенные артисты. Так из музыкального кружка, которым руководил композитор и музыковед В.В.Микошо, по его инициативе родилась первая детская музыкальная школа Воркуты.

Огромный интерес вызвали музыкально-образовательные циклы лекций-конcertов, регулярно проводившихся после окончания войны. Так в 1947 году провели циклы “Русские музыкальные классики” и “Великие русские композиторы”. Интересно для примера привести программу второго. Он начинался вступительным словом В.Микошо, который вел весь цикл, рассказывая о композиторах и их творчестве. Затем певцы и музыканты исполняли произведения. Вслед за первопроходцами русской музыкальной культуры в цикле звучали произведения представителей могучей кучки - А.Балакирева, А.Бородина, Ц.Кюи, М.Мусоргского и Н.Римского-Корсакова. Цикл состоял из 9 лекций-конcertов по темам: М.Глинка, А.Даргомыжский и т.д. Отдельные лекции-конcertы посвящались творчеству А.Серова и А.Рубинштейна, П.Чайковского (2 вечера), а в заключительном звучали произведения С.Танеева, А.Глазунова, С.Рахманинова.

В лекциях-конcertах выступали инструменталисты, певцы и чтецы. Обычно певцы выступали в сопровождении пианистов А.Стояно и Е.Добромысловой и инструментального трио в составе Т.Юнгфер (фортепиано), М.Носырев (скрипка) и Л.Брокер (виолончель).

Надо ли объяснять просветительское значение такой деятельности. Уже в пятидесятых годах начало созданию Коми музыкального театра положили концертные выступления артистических бригад, в которых принимали участие ведущие в прошлом солисты музыкально-драматического театра Воркуты Б.Дейнека, Мерцалова, В.Ищенко и др.

В музыкально-драматическом театре создавалась своя музыка к спектаклям. Авторами музыкального

оформления многих постановок являлись свои композиторы В.Микошо, М.Носырев, а затем В.Демин. Их музыка через Всесоюзное управление охраны авторских прав использовалась в ряде театров страны, в том числе столичных. Так В.Микошо написал музыку к комедиям “Собака на сене” Лопе де Вега, “Дон Сезар де Базан” Дюмануара и Деннери, к спектаклям по пьесам современных советских драматургов.

Спектакли воркутинцев всегда привлекали также продуманностью и красочностью художественного оформления. При этом, вспоминая П.Бенделя, нельзя забыть о другом художнике-заключенном, впоследствии главном художнике театра К.Гусеве, умевшем лаконично и броско выделить в оформлении основные детали, приоткрывающие путь к постижению идеи спектакля.

О напряженности работы в театре можно судить по репертуару и по тому, что в течение десятилетия фактически единственным дирижером всех музыкальных спектаклей являлся В.Микошо. Когда в 1951 году музыкально-драматический театр стал называться драматическим, сократили оперную и балетную труппу (вот тогда-то и попытались организовать из остатков этих трупп небольшую мобильную бригаду во главе с Д.Шрагером). Но в театре все еще шли отдельные оперетты и, вновь вошедшие в моду, классические и современные водевили. Сократили число музыкантов в оркестре. Но во главе его продолжал стоять В.Микошо. Он писал музыку к водевилям “Девушка-гусар”, “Муж всех жен”, “Дочь актера”, “Беда от нежного сердца” и др.

Обидно скромно стало звучать само название теат-

ра: “Драматический театр дома культуры комбината Воркутауголь Министерства угольной промышленности СССР”. Было пропущено “МВД”. Но фактически кадровыми вопросами театра оно не переставало интересоваться и даже ведущие актеры, как Р.Холодов или В.Токарская, уже после освобождения, оставаясь ссыльными, не имевшими права выезда за пределы Воркуты, зависели от каприза любого сотрудника МВД. После досрочного освобождения “на вольном поселении” регулярно отмечались в комендатуре все освободившиеся, в том числе музыкальный руководитель театра дирижер В.Микошо. Только в 1955 году он смог переехать в Сыктывкар, где оставался еще несколько лет до получения полной реабилитации.

В репертуаре драматического театра, наряду с водевилями и романтическими драмами, как “Анджело, тиран Падуанский” В.Гюго или комедиями, как “Дама-невидимка” Кальдерона, все чаще стали появляться пьесы современных зарубежных и отечественных авторов. К чести Н.Г.Гайдарова и, на два сезона сменившего его К.К.Кякшто, театр включал в репертуар по возможности хорошие пьесы. Но интерес к нему падал. Старожилы со вздохами вспоминали постановки опер “Фауст”, “Русалка”, “Евгений Онегин”, классические оперетты Кальмана, Легара, Оффенбаха,.. характеризовавшие расцвет сороковых годов, когда в Заполярье блистали артисты-заклученные, только волею судеб злого времени сменившие столичные сцены на воркутинскую...

С конца 1953 года театр, уже не имевший в своем составе тех, кому надлежало быть под конвоем, стал выступать в лагерных зонах, даже в каторжных.

В 1955—1956 гг. большинство бывших в заключении ведущих артистов уехали из Воркуты. Уехали Р.Холодов, В.Токарская, В.Дейнека, Е.Волошина и Е.Белоусова, В.Ищенко, супруги Харламовы, В.Рутковская и другие. В 1957 году уехал, наконец, на родину француз Марсель, работавший заведующим постановочной частью, а затем А.Э.Мейер-Белов - зав.труппой, актер и поэт. Уехала и артистка Михайлова, не по своей воле после Малого театра оказавшаяся в Воркуте.

Театр терял и зрителя, тем более, что с весны 1954 года у драматического театра появились опаснейшие сильные соперники — так называемые культбригады “Речлага” и “Воркутлага”, с отличными вокалистами, музыкантами, соединенными в симфонический оркестр, отдельными эстрадными и драматическими актерами и режиссерами.

Последним отголоском музыкально-драматического театра заключенных прозвучала в 1956 году музыкальная комедия “Морской узел” (музыка Е.Жарковского, либретто В.Винникова и В.Крахта), успешно осуществленная только что вышедшими из-за проволоки В.Лавровым (режиссер-постановщик), К.Гусевым (художник), М.Бусловичем (балетмейстер), в сопровождении инструментального ансамбля под управлением А.Платонова. В этом спектакле основные роли исполняли недавно освободившиеся артисты В.Балемба (Волгин), В.Лавров (Ильин), В.Спиркова (Людмила), М.Бичай (Маргарита), Б.Харламов (Березко), Ю.Волков (Пчелкин). Даже помощник режиссера Е.Маевская, в прошлом работавшая в Московском художественном театре, только что освободилась. Вообще же из шестнадцати участников спектакля только трое исполни-

телей второстепенных ролей не были экс-заключенными.

Вскоре, из-за отъезда В.Лаврова, его жены М.Бичай (впоследствии заслуженной артистки РСФСР), Ю.Волкова, ставшего одним из ведущих актеров театра им. М.Н.Ермоловой в Москве, Б.Харламова, Д.Шрагера и др., этот спектакль сняли с репертуара. На должность главного режиссера вновь пригласили Н.Гайдарова, сумевшего из разных городов страны привлечь в Заполярье ряд новых интересных актеров.

С этого же, 1956 года, театр перешел в ведение Министерства культуры Коми АССР.

Часть II.

То, о чем никогда не писали

(Культбригады Воркуты)

Памяти художника

Валерия Васильевича Алтуфьева.

В Воркуте, а это понятие охватывает огромный район с десятками, если не сотнями лагерных пунктов, в каждом из которых в среднем содержалось от полутора до четырех тысяч человек, имелись к началу 50-х годов два основных управления лагерей, Воркутлаг и Речлаг, окончательно сформированные на рубеже пятидесятых годов.

До 1949—1950 гг. между женским и мужскими зонами не было такой строжайшей изоляции, как в дальнейшем. В большинстве ОЛПов художественная самодеятельность была совместной, мужчины и женщины

выступали в одних концертах и спектаклях. Так в ОЛПе шахты 2 в это время каторжанин — заслуженный артист РСФСР А.П.Цветухин, между прочим, глухой, по воспоминаниям заключенных, в том числе одной из участниц — Е.Ф.Манойловой — поставил “Маскарад” М.Ю.Лермонтова и сам блестяще сыграл роль Арбемина. Нину играла другая актриса, каторжанка, впоследствии участница Центральной культбригады — Алла Пирогова. После освобождения она с Б. Мирусом, тоже актером культбригады, затем успешно снимавшимся во многих украинских фильмах — продолжала работу в профессиональных театрах.

Нужно ли пояснять, каких трудов А.П. Цветухину и другим режиссерам и актерам-участникам стоило поднятие такого спектакля или ряда пьес А.Н. Островского, также поставленных в тех условиях. Но это было до Речлага...

В ведении Воркутлага находились ОЛПы, где содержались по тем понятиям менее опасные преступники (воры, убийцы, растратчики, всякого рода аферисты, “политические” с малыми сравнительно сроками (до 10-12 лет) наказания). Но основную часть Воркутлага составляла группа каторжных лагерей. В последних содержали бывших военнопленных, советских немцев, самовольно покинувших места поселения (за это Особое совещание сразу определяло 20 лет каторжных работ) или представителей других сосланных народов, случайно переступивших границы определенного им “для вольного поселения” района. Каторжниками были люди, обвинявшиеся в пособничестве врагу, в преступлениях, квалифицированных по разным пунктам 58-й статьи уголовного кодекса. Так, 58-1а — измена Роди-

не гражданского лица, 58-1б — военного и т.д. В Воркутлаге встречались и осужденные по Указу от 7 августа 1932 года “За хищения социалистической собственности”, а также убийц-грабителей (ст. 59, пункт 3).

В Речлаг чаще направляли по статьям 58-10 и 58-11 (антисоветская агитация), а также всех замеченных в связях с бандеровцами и самих бандеровцев, оуновцев, прибалтийцев, шпионов, космополитов. Рядом с ними могли быть малосрочники — дети врагов народа, осужденных к расстрелу. В Речлаге были отдельные лагпункты из немецких женщин-“шпионок”, жительниц Восточного Берлина, осмелившихся посетить кого-либо из своих родственниц в Западной части города. Всем им давали от 15 до 20 лет каторжных работ.

Вообще-то трудно сказать, по каким признакам сортировали заключенных, направляя их “по делам” в зону того или иного вида режимного содержания под стражей. Но со всей ответственностью скажу: даже если кто и был виновен действительно, то не в той мере, какой “измеряли” наказание. Ведь изоляция, заключение — уже сама по себе жестокость. Но кто может оценить “сопутствующие” качества заключения в СССР? Не говорю уже о климате, куда “вживали” всех без разбора, об этапировке в нечеловеческих условиях да еще после невиданного “следствия”... А разве голод, самый настоящий, хроническое недоедание, вследствие чего болели пеллагрой, авитаминозом, цингой, отвратительные условия непосильного труда, содержание за проволокой в наполненных клопами бараках на голых нарах — не являлись уже сами по себе ужаснейшими видами наказаний?! Вся совокупность унижений,

неотъемлемых от понятия “заключенный”, смерть людей на глазах друг у друга, засилье блатных, всяких отбросов общества, считавшихся советскими людьми в отличие от “фашистов” — разве все это не могло приравнять даже два-три года заключения к сроку в пятнадцать-двадцать лет?! “Записки из мертвого дома” Ф.Достоевского — ничто в сравнении с тем, что помнят еще живые...

Конечно, те, кто играл в воркутинском театре, в значительно меньшей степени испытали все то, о чем здесь говорится, и потому, зная, что их ждет в зоне за проволокой, дорожили своей работой.

Но были деятели сцены и других видов искусства, которые не могли мечтать о Воркутинском театре, так как были осуждены на большие сроки, исключавшие какие-либо режимные послабления, не могли мечтать о получении пропусков, а в зонах, где их содержали, не разрешалось даже выступать театру. А сами эти деятели искусства обычно выполняли общие тяжелые работы и лишь в свободное время после них могли остаток своих сил отдавать любимому делу, которому посвятили жизнь.

Между тем, в каждой зоне проявлялась страстная тяга к искусству — реальная потребность в нем — и этим не смели пренебрегать ни сами заключенные, ни начальники лагерей и шахт.

Особенно много представителей интеллигенции содержалось в Речлаге. Туда прямиком попадали “космополиты”, иностранцы, интеллигенты из Прибалтики, Маньчжурии, русские эмигранты из европейских стран, где они или их родители осели еще после гражданской войны; вообще, люди, побывавшие за рубе-

жом и посмевающие увидеть другую жизнь, кроме советской. Понятно, что в Речлаге потребность в искусстве ощущалась еще сильнее, чем в Воркутлаге.

В каждом ОЛПе Воркутлага и Речлага имелаась культурно-воспитательная часть (КВЧ), возглавляемая офицером МВД, как правило, самым неавторитетным. КВЧ на практике ни за какую культуру не отвечала, но, если шахта не выполняла план или в зоне учащались нарушения режима, всю вину сваливали на КВЧ (как на воле на министерство культуры); дескать, КВЧ работает “не на высоте”, “трудовое соревнование носит формальный характер”, “художественная самодеятельность не стимулирует высокой производительности труда” и т.п.

Все подобные обвинения валили на голову несчастного начальника КВЧ. Всю же работу за него, как, впрочем, и за начальников других частей и даже начальников лагерей (исключая разве что начальников оперативных частей — офицеров госбезопасности), делали заключенные по 58-й статье, хотя последним не полагалось работать в библиотеках, плановых отделах или частях, быть организаторами культурно-воспитательной работы (художественными руководителями самодеятельности). Тут начальству приходилось идти на нарушения режима: интеллигентных воров и бандитов не попадалось и даже подобие культурно-воспитательной работы (а про нее писали бойкие отчеты все те же “враги народа”) требовало каких-то знаний, кругозора, умения обращаться если не с музыкальными инструментами, то хотя бы с книгами.

Культурно-воспитательные части лагерей Воркуты располагали музыкальными инструментами (обычно — струнными, баянами, аккордеонами, реже — фор-

тепиано), а также библиотеками. Последние поражали своим богатством. Здесь не являлись редкостью книги по истории искусств Гнедича, Бенуа, Муттера, издания Брокгауза, Гранат, великолепные альбомы с репродукциями картин великих отечественных и зарубежных мастеров разных времен. Библиотеки комплектовались за счет конфискованных книг у “врагов народа”, а также за счет приобретенных культурно-воспитательным отделом Воркутлага у букинистов, не считая плановых поступлений новых книг. В библиотеках имелось немало раритетов. Автор своими глазами видел книги с автографами Брюсова, Блока, Бунина, Горького (в частности, на сборнике, изданном в 1902 году в пользу голодающих, посвящение профессору Фальковичу). Помню, что в том сборнике был также рассказ Мартынова “Старая гитара”. Эту книгу предлагал мне в Речлаге после концерта заключенный библиотекарь, известный еврейский поэт Моисей Тейф. К дикому сожалению, я не решился тогда взять этот ценный экземпляр, потому что сроду не воровал, даже книг, а, возможно, опасался, что на вахте, где, правда, нас, артистов, почти не обыскивали, могут не пропустить. Жалею об этом, так как при ликвидации воркутинских лагерей все книги из лагерных библиотек бдительнейшими невеждами “по соображениям режима” в 1956—1957 годах вывезли в тундру и сожгли. Бдительность!.. “Невежество — мать подозрительности” (У.Олджер). Примечательно, что каторжники и вообще заключенные много читали, несмотря на страшную усталость после тяжелого труда.

В каждом ОЛПе имелись бараки, домики или помещения, служившие клубами. Зрительными залами

обычно являлись огромные столовые, но со сценами. Иногда (больше в Речлаге) имелись отдельные большие здания барачного типа, а то и по-настоящему хорошо оборудованные для спектаклей. Вместительные залы, ложи (для начальства), балконы, хорошо оснащенные технически сцены. Все оборудование последних изготовляли безымянные мастера, обычно вручную, в шахтных механических цехах, электроцехах и других мастерских.

Так вспоминаю уютный дом культуры ОЛПа шахты № 5 с небольшим залом всего на 250-300 мест, ложами и великолепной акустикой. Театральные здания Речлага вмещали до восьмисот-девятисот зрителей, то есть, больше, чем городской театр Воркуты.

Понятно, что строили все это заключенные — и в нерабочее время: иметь свой клуб-театр хотели и каторжники, и начальство. Последнее понимало значение “своего театрального коллектива” для повышения производительности труда и соблюдения какого-то относительного спокойствия в зоне: нельзя же отнимать у заключенных все, даже такую “тень” или отдушину, как сценическое искусство, когда, слушая певца или чтеца, включаясь в происходящее на сцене, сидящий в зале вдруг забывал о своем положении, мог приходиться в восторг, смеяться, радоваться, удивляться, благодаря чьему-то непотерянному искусству.

Каждый начальник ОЛПа, подобно давним помещикам, гордился своим “крепостным театром”, независимо от его направления — драматического, музыкального, балетного, эстрадного, циркового (были и такие).

Иногда (до 1951 года) особенные любители искус-

ства из начальников даже умудрялись договариваться с режимниками и, если ОЛПы находились недалеко друг от друга (например ОЛПы шахт № 26 и 27), выводили (под конвоем, конечно) свою самодеятельность “в гости” в соседнюю зону. Но это было рискованным исключением из правил. Среди каторжников и речлаговцев имелись отличные артисты всех жанров, вплоть до артистов цирка (например, известный жонглер-эквилибрист С.Турицын). Все они выполняли в лагерях общие работы в шахтах, каменных карьерах, на стройках. Но обычно начальство старалось вопреки инструкциям пристраивать артистов внутри зоны (в бане, на кухне, хлебрезке, на складе, посудомойками, дневальными в бараках, в культурно-воспитательной части художниками, даже библиотекарями и т.д.)

Возле отдельных интеллигентов группировалась жадная к культуре молодежь. После каторжного труда каждый спектакль или концерт своей самодеятельности становился событием и нередко за “своих артистов” бригады отработывали нормы под землей и на погрузке угля, чтобы дать возможность товарищам участвовать в репетиции, спектакле, концерте.

Выступали не только на русском языке. В лагере второго шахтоуправления (ШУ-2) под руководством профессионального режиссера-энтузиаста Ефима Гавриловича Заячковского и его помощника по музыкальной части композитора Станислава Гонтковского постоянно выступали на украинском языке со спектаклями по пьесам Т.Шевченко, И.Франко, Карпенко-Карого и др. В этой зоне абсолютное большинство составляли украинцы, обвиненные в участии в ОУН и отрядах Бандеры. Женские роли играли мужчины.

В лагере “Депо-Предшахтная” (тоже режимном), где содержали немок из Берлина, выступали с концертами и спектаклями на немецком языке. В ОЛПе шахты № 9-10 прибалтийцы исполняли в концертах свой национальный репертуар. Там содержали известных в Прибалтике певцов и музыкантов.

В ОЛПе кирпичного завода самодеятельностью руководила Н.П.Лавровская. Перед войной она училась в Ленинградской консерватории у знаменитой арфистки Дуловой. Затем Наталья Лавровская оказалась на оккупированной территории в Гатчине, где продолжала заниматься музыкой, участвуя в какой-то концертной русской бригаде с репертуаром, ничего общего с пропагандой не имевшим. Лавровская превосходно играла на аккордеоне и фортепиано. Кроме того, она писала неплохие стихи и обладала буйной фантазией. В своем ОЛПе она ухитрилась силами одних женщин-любительниц ставить классические балеты, вроде “Спящей красавицы” и “Лебединого озера” в своей обработке, а также драматические спектакли, где, понятно, мужские роли исполняли женщины.

Но тиски режима все туже затягивали петлю на шее и этих, столь нужных и тысячу раз процenzурированных ростков искусства. Все чаще запрещались те или другие спектакли, выбрасывались из концертов отдельные номера “за безыдейность”. Художественная самодеятельность внутри лагерных зон, как и Воркутинский театр, в 1952 году вступила в новую фазу.

Следуя столичному примеру, “космополитов” и прочих “идейных врагов”, еще иногда занимавших места в лагерных библиотеках или отделах главного механика на шахте, стали срочно переводить на общие работы.

В 1953 году после смерти Сталина, когда его первый последователь Л.П.Берия амнистировал воров и бандитов, терпение 58-й статьи лопнуло. Начавшееся в Караганде волнение дошло до Воркуты. Труженики, выстроившие железные и шоссейные дороги, дома и шахты, когда у них на глазах освободили массы бездельников, занимавшихся воровством и разбоем, не выдержали. По шахтам прокатились забастовки. Особенно сильными они были в ОЛПах Речлага. Против заключенных ОЛПа 30-й шахты, отказавшихся выходить на работу, применили оружие. Было множество убитых и раненых. Примечательно, что приехавший из Москвы генерал Масленников, руководивший этим расстрелом, сам в поезде, возвращаясь из Воркуты, застрелился.

В ОЛПах Воркутлага, где “идейных врагов” было значительно меньше, забастовки носили обычно скрытый характер. Так, например, на 25-й шахте, как и на ряде соседних, никто не бастовал. Все выходили на смену, спускались под землю, потели в лавах и на проходке, но...но... шахта выполняла план всего на 20-25%. Приезжали высокопоставленные комиссии, даже в шахту спускались; видели: люди трудятся, потеют, но... добыча угля катастрофически падала и всегда находились “объективные причины”: шахты — дело темное...

Тут опять руководство лагерей и комбината Воркутауголь обратило взоры на, так называемую, “культуру”. Первые режимные послабления коснулись служителей муз.

Управление Речлага (начальник — генерал Деревянка, по отзыву покойного В.Д.Лаврова — большой лю-

битель искусства) организовало культбригаду во главе с Виктором Дмитриевичем Лавровым, бывшим актером русского театра в Маньчжурии. В.Д.Лавров вскоре после реабилитации получил звание заслуженного артиста РСФСР; был артистом и режиссером в Омске, но, к несчастью, умер молодым, не дожив до пятидесяти лет, Лавров, исключительно музыкальный, ритмичный, пластичный и эмоциональный актер, обладавший хорошим голосом и внешними данными, проявил себя сразу же как отличный организатор и высококультурный руководитель, авторитетный во всех областях искусства.

Лавров получил от Деревянко примерно такие же права, как некогда Б.А.Мордвинов от Мальцева. Виктор Дмитриевич объездил зоны Речлага и, независимо от статей и сроков, благодаря поддержке Деревянко, собрал великолепный коллектив. Триумфально прошла его первая гастроль по зонам Речлага и Воркутлага. В культбригаде Лаврова были режиссер Волдемар Петрович Пуце — ученик великого Михаила Чехова, первый латышский кинорежиссер; бас Юдин (дьякон из Ленинграда), драматический тенор Б.Раджус (после освобождения премьер Пермской оперы), лирический тенор Н.Синицын (Москва), доцент Московской консерватории С.Ребриков (баритон), великолепный балетмейстер Марк Соломонович Буслович (Андрианов) из Москвы, танцовщицы Соня Ходжиева (Берлин, из семьи русских эмигрантов), Татьяна Шильских (Рига), хормейстер Салиньш (кажется, Таллин), жонглер Сергей Турицын, молодой драматический актер Юрий Волков (Москва), ряд превосходных музыкантов, скрипачей, пианистов, среди которых выделялся

совсем молодой Юлий Клесов, аккордеонистов, виртуоз-кларнетист и саксофонист Василий Бендер и др. Буквально каждый музыкант был мастером.

Все имевшиеся у него в распоряжении таланты Лавров сумел ярко представить в умело выстроенной программе выступлений.

Чуть позднее Речлага, весной, в апреле-мае 1954 года, культурно-воспитательный отдел Воркутлага провел конкурсный отбор по своим ОЛПам для создания своей культбригады. Но в Речлаге отбор проводил специалист — Лавров, имевший постоянный доступ к высшему начальству — Деревянко, и там отбор прошёл лучше, организованнее и действительно выявил самые яркие дарования. В Воркутлаге не все ОЛПы смогли своевременно прислать в Воркуту отобранных по конкурсу представителей. В результате, первые, приехавшие в Воркуту, получив сразу доступ в культурно-воспитательный отдел, преградили ряду талантливых артистов, опоздавших приехать из-за проволочек начальства, дорогу в культбригаду. Тем не менее, она все же собрала интересных представителей искусства. Назову великолепную певицу (сопрано) Элеонору Божко (Литва), танцовщицу Валентину Артемьеву (Москва), конферансье Леонида Фикса (Одесса), баяниста Петра Цибулина, танцора Андрея Мягкова, скрипача Артура Дреслера.

Возглавил культбригаду Воркутлага молодой способный эстрадник Владимир Арсентьевич Прудников, конферансье, впоследствии художественный руководитель Калужской филармонии. Прудников и Фикс первые получили пропуска из состава культбригады Воркутлага. Под руководством Прудникова была состав-

лена и отрепетирована концертная программа эстрадного характера, с которой успешно прошла вскоре гастроль по лагпунктам своего управления.

Летом 1954 года, в связи с ликвидацией Речлага и передачей его ОЛПов в ведение Воркутлага, обе артистические бригады объединили и они приступили к совместным репетициям. Во главе объединенного коллектива поставили В.Д.Лаврова. Первые же выступления и в зале Воркутинского драматического театра, и в ОЛПах принесли Центральной культбригаде культурно-воспитательного отдела (КВО) Воркутлага, как она с тех пор стала называться, заслуженный успех.

Замечу, что не только из любви к искусству стремились заключенные попасть в Центральную культбригаду и при отборе в нее на просмотрах в каждом ОЛПе были большие конкурсы, а попадали — редкие единицы, хотя выбирать было из кого. Дело в том, что попавшие имели множество преимуществ перед остальными заключенными. Во-первых, мужчины имели возможность, пусть лишь во время репетиций и выступлений, общаться с женщинами. Постепенно эти контакты становились прочнее. Нельзя забывать, что в большинстве культбригада состояла из молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет. “Старики”, вроде Пуце, художника В.В.Алтуфьева (Минск), баса Юдина, балетмейстера Бусловича, которым было под пятьдесят, составляли исключение, из женщин старейшей оказалась Э.Божко (за сорок). Участники культбригады имели право носить волосы, что категорически запрещалось заключенным. Большинство культбригадовцев осенью 1954 года получило пропуска. Женщинам выдали их раньше, чем мужчинам.

Мужчин поселили в зоне ОЛПа-4 (бывший режимный), женщин — в недалеком женском ОЛПе. Базой уже объединенной культбригады стал ОЛП четвертой шахты Речлага. Там отвели отдельный барак (для сна и отдыха) и освободили другой барак для репетиций. В зоне также имелся, кроме того, клуб с небольшой сценой и просторным залом.

Женщин приводили в мужскую зону под конвоем, а после репетиций обыскивали на вахте и уводили.

Обедали в той же столовой, где все заключенные, и получали такую же скудную пищу, тем более, что среди артистов не выделялись шахтеры-рекордисты, получавшие “премиальные добавки” (“прем-блюда” в виде котлеты или пирожка). Поэтому все артисты с нетерпением ждали выпуска очередной программы и поездки на гастроли по ОЛПам. Во время поездки каждый ОЛП устраивал “своим артистам” и, значит, всей бригаде сытнейшие обеды и ужины. При выездах в отдаленные ОЛПы бригада нередко оставалась в них ночевать. Женщин пристраивали где-либо за зоной или в отдельном бараке, а мужчин — в наиболее благоустроенном бараке лагерной obsługi. Каждый ОЛП старался наилучшим образом встретить, устроить и накормить артистов. Как-то даже пришлось артисткам и артистам ночевать в одном бараке, на что уже посмотрели сквозь пальцы.

К тому времени шахты перешли на хозрасчет и заключенные зарабатывали по тем понятиям приличные деньги; могли прикупать продукты и некоторые вещи в лагерных ларьках и магазинах внутри ОЛПов. Режим заметно ослабел. Дали право на свидания с родственниками. Поговаривали о скором “выводе всех за

зону”. В зонах стали появляться заезжие артисты “с воли”, показывал (с меньшим успехом, чем культбригада) спектакли Воркутинский драматический театр. Приезжали и другие театры. Разрешили последним гастролы по лагерям еще до начала деятельности культбригады.

Не могу удержаться, чтоб не рассказать о приезде в ОЛП двадцать пятой шахты драматического театра города Котласа. Насколько я знаю этот театр, а я его знал и впоследствии, он всегда был в бедственном положении, несмотря на то, что пользовался любовью котлошан и многие его спектакли заслуживали высокой оценки.

Конечно, известие о спектаклях котлошан вызвало огромный интерес. В репертуаре гостей оказалось четыре названия, в том числе, помню, “Коварство и любовь” и популярная тогда комедия “Стрекоза”.

Открылись выступления спектаклем “Коварство и любовь”. Не буду касаться качества постановки и игры отдельных, явно начинающих актеров, в частности исполнителя главной роли Фердинанда, иногда забывавшего текст, но тут же, мотнувши головой, повторявшего забытые и вновь обретенные слова. Однако, в спектакле был отличный Герцог (эту роль исполнял ведущий актер театра) и прелестная обаятельная Луиза, молодая способная актриса.

Несмотря на запрет, мы не избежали контактов с артистами. Они сперва нас побаивались: предупредили, что будут иметь дело с “врагами народа”. Затем стали откровеннее. И вот, поинтересовавшись заработком гостей, мы узнали, что лучший актер получает в месяц одну тысячу двести рублей (высшая в театре ставка!), а

другие, в том числе исполнительница роли Луизы, — всего пятьсот пятьдесят рублей, то есть, раза в три-четыре меньше шахтера-каторжника.

Каторжане, услышав о таком мизерном заработке служителей искусства, прониклись к ним искренним сочувствием. Шахтеры собрали несколько тысяч рублей и тихонько ухитрились их вручить исполнительнице роли Луизы и еще двум-трем молодым актрисам. Увы, грустно, трогательно и... горько.

Но вернемся к культбригаде и ее гастролям.

Конечно, приезжая в “родной ОЛП”, каждый спешил повидать товарищей, а они “своего артиста”. Тепло встречались земляки, друзья, поклонники, а нередко и “женихи” и “невесты”: те, что еще до ужесточения режима в 1949—1950 гг. были вместе с женщинами в одних ОЛПах, в одних рабочих зонах, имели возможность украдкой встречаться, любили друг друга, а потом были разлучены. Женщин вывели на поверхность из глубины шахт, где они работали наравне с мужчинами. В 1950 году часть женщин вывезли в Сивую Маску, лагпункты по железной дороге на Лабытнанги (к Оби) километров на 200—250 от Воркуты. В ней же основными женскими ОЛПами остались режимные — ОЛПы Кирпичного завода и Депо-Предшахтной. Последний вблизи от базы культбригады, размещавшейся в ОЛПах третьей и четвертой шахт.

В зоне, где находилась культбригада, содержали в основном украинцев, а также “космополитов”. Большинство составляли украинцы-бандеровцы. Дневальный в бараке бригады тоже был украинцем. В зоне царил образцовый порядок. Воровства не было: бандеровцы сумели расправиться и с ворами, и со стукача-

ми. Отношение к артистам, особенно воркутлаговцам, сперва было настороженное, даже избегали вступать в разговоры. Но вскоре стало вполне дружелюбным и дневальный, невзирая на лица, за плохо заправленную постель или за курение в бараке одинаково авторитетно и резко набрасывался и на рядового оркестранта, и на ведущего артиста, и на женщин, осмелившихся закурить сигарету.

Отчисления за профнепригодность случались редко и обычно производились по просьбе самих же участников, убедившихся, что творчески и физически (репетиционная нагрузка и постоянные разъезды) явно им не по плечу... Я помню некоторые фамилии, например Николая Смокина и Яна Яновича Девица, прекрасных людей, но уже в силу возраста тяжело вживавшихся в напряженный ритм жизни культбригады. Вернулись они в ОЛПы, где первый работал, если не ошибаюсь, экономистом в плановом отделе шахты № 25, второй — провизором.

Культбригада неизменно выступала на крупнейших городских мероприятиях, партийных конференциях, всяких совещаниях руководства лагерей, к знаменательным датам.

Каждую программу перед выпуском просматривали сперва начальник культурно-воспитательного отдела, затем — начальник политотдела Воркутлага. Последний имел решающее слово. Но исключения каких-либо номеров из уже подготовленной программы являлись редкостью: она уже самими руководителями культбригады отшлифовывалась и выверялась десятки раз.

Открывал концерт обычно, если бригада на выезд-

дах не разделялась на две, отдельно концертирующие группы, хор под управлением Салиньша. Как сейчас помню великолепное исполнение знаменитого вальса “Амурские волны”, эстонского национального “Тульяка”, “Русской красавицы”.

Далее чередовались номера вокалистов — танцоров, чтецов, конферанс, обычно парный в исполнении В.Прудникова и Л.Фикса.

За право участия в ответственных концертах перед начальством шла невидимая внутренняя борьба: такое участие как бы закрепляло право пребывания в бригаде, могло стимулироваться увеличением зачетов рабочих дней, приближавших дату освобождения.

Русские народные песни в исполнении баса Юдина, могучего и по внешнему виду и по голосу; арии из опер и оперетт в исполнении божественной Элеоноры Божко (не боюсь тавтологического к фамилии эпитета), обладательницы сильного и редкого по тембру голоса (сопрано), арии в исполнении С.Ребрикова (например, знаменитая “Куртизаны” из “Риголетто”), Синицына, испанский танец в постановке Бусловича, исполнявшийся им и исключительно одаренной Валентиной Артемьевой, жонглирование Сергея Турицына, блестяще выступавшего на разных сценах (а ведь для жонглера, эквилибриста уже разные степени освещения создают огромные трудности), сольные выступления скрипачей А.Дреслера и Титова Ю., симфонического, а затем и эстрадного оркестров (первым руководили Салиньш и Матюшкин, вторым — В.Бендер), комические сценки, как например дуэт Курочкина и Любаши из той же “Свадьбы с приданым”, где великолепно выступал разносторонне одаренный Ю.Копылов...

Выступления самого В.Лаврова с чтением композиций из “Василия Теркина” и “Страны Муравии” и, наконец, заключительная сцена с участием всех артистов — “Качели” из “Веселой вдовы”... Разве все перечислишь?! Пусть не обижаются Куйбида, Г.Шиманович, В.Михайлов, Чигрин, Захарченко, что я не назвал их в первую очередь с теми, кто больше всего заслуживал успеха. Хотя Н.Захарченко, безусловно, относилась к звездам первой величины в культбригаде. Ведь в ней числилось более шестидесяти человек. Ей под силу оказывались самые сложные произведения разных жанров.

Лавров строил далеко идущие планы о создании синтетического театра, учитывая силы также имевшихся в культбригаде драматических актеров. Но... этим замыслам не пришлось осуществиться.

Многие, познакомившись в культбригаде, затем после освобождения поженились, как, например, В.Прудников и В.Артемысва, Ю.Волков и А.Молодцова и другие.

Были в культбригаде и романы с драматическим исходом. Узнавшее о них начальство принимало крутые меры и отдельные артисты, имевшие доступ к “высшему руководству”, этим пользовались, убирая своих соперников и конкурентов... Один из таких “романов” использовали недоброжелатели В.Д.Лаврова, дабы устранить его от руководства культбригадой.

Гастролируя двумя отдельными группами, артисты не раз оказывались в женских ОЛПах, где после выступления надолго “запаздывал” конвой, а как-то перед вечерним концертом в лагере Предшахтной вдруг случилась “авария” со светом. Часа два с лишним не могли начать концерт, пока ее не ликвидировали. А

артисты тем временем гостили в бараках у соскучившихся по мужскому обществу милых немецких женщин... После “аварии” участников концерта пришлось еще добрый час собирать по всей зоне. За неимением другого, огражденного проволокой места, бригада летом 1955 года вообще ночевала в женской зоне близ железнодорожного полотна на Лабытнанги. Перечень таких отклонений от режимных установок можно пополнить. Случалось, что конвоиры, а они быстро нашли общий язык с артистами, по прибытии в женский ОЛП передевались в штатское и..., каково же на следующее утро было изумление и бешенство бандеровок, вдруг узнававших в ком-либо из “проклятых шкурников” своих страстных ухажеров и...

Среди тех, с кем особенно трудно приходилось расставаться культбригаде, можно выделить ряд имен. Так Нина Захарченко великолепно исполняла, аккомпанируя себе на аккордеоне, песни разных народов, в первую очередь украинские. Профессиональный музыкант, она оказывала огромное педагогическое влияние на других, менее опытных участников культбригады. К несчастью, вскоре после объединения воркутлаговской и речлаговской бригад (Захарченко была в речлаговской), в результате клеветнического навета Нину вновь загнали за проволоку. Та же судьба постигла бывшего режиссера Московского художественного театра Маевскую, впрочем, в бригаде ничем себя не проявившую.

Когда наступили “новые времена”, случалось, что “мужа” освобождают, а “жена” еще в заключении, и “муж” уезжает или наоборот. Чаще “жены”, освободившись, верно дожидались “мужей”, а затем оба, как,

например, танцор Челпан, Куйбида, Копылов уезжали, если, конечно, имели право на выезд.

Встречались и драматические развязки. Например, музыкант Матюшкин и Соня Хаджиева вынуждены были расстаться, так как последняя, немецкая подданная, должна была, как и другие немки из лагеря Предшахтной, возвратиться в Германию.

Как в любом профессиональном коллективе в бригаде не обходилось без интриг. Не все в них участвовали. Корифеи, вроде Лаврова, Божко, Копылова, Кутейниковой, Захарченко, Бендера, Дреслера, Титова, баяниста Колпашикова, аккордеониста К.Селедневского и лучшие танцоры Ухов, Буслович, режиссер Пуце, в них не участвовали. Но представители “эстрадного направления”, не считая Турицына, сплетничали предостаточно...

Лично я всегда оставался в стороне от этой темной стороны закулисного мира, возможно, в чем-то я проявил малодушие: ведь, когда я добивался права быть в культбригаде, я мечтал о драматической сцене, а вместо нее вступил на путь эстрады; участвовал в конференции, играл роли в скетчах, выступал с чтением обычно своих, далеко не совершенных стихов. Я пришел в тот коллектив, который по своей эстрадной направленности был мне фактически чуждым.

Отдушиной для меня, все же оставшегося в бригаде, была дружба с Пуце и, особенно, с Валерием Васильевичем Алтуфьевым, художником.

Ему к тому времени уже перевалило за пятьдесят. Умный, великолепно воспитанный, умеющий с достоинством себя держать при любом начальстве, он как-то сразу привлек мои симпатии.

Худощавый, с реденькой седеющей бородкой, умными добрыми глазами — такой он стоит передо мной. Кажется, в свое время он был одним из художников, оформлявших павильон Белоруссии на ВДНХ в Москве (выставка достижений народного хозяйства). В Минске в период оккупации он, понятно, тоже рисовал. Рисовал за продукты немецких офицеров, а портретист он был отличный, и этим существовал. Ввиду почтенного возраста содержали его в ОЛПе южнее Воркуты, где были женщины. Там он имел неосторожность платонически увлечься одной молодой участницей самодеятельности, затем попавшей в культбригаду и на новом месте увлекшейся одним из танцоров. “Вавич” (так мы называли ласково Валерия Васильевича) сперва очень расстроился, но вскоре отнесся к событию философски, вошел в свою колею. Это был отличный художник и широко образованный человек. С ним мы ночами просиживали в спорах и беседах об искусстве. В общем бараке у него была сбоку каморка, где он рисовал, а заодно и ночевал. В дыму от дешевых папирос мы нередко засиживались до утра.

Мы долго спорили, чтоб мигом помириться,

Гора окурков ширилась, росла,

Стихами падала на новую страницу —

И ночь бессонная короткою была.

Так я впоследствии вспоминал о наших ночных бдениях. Милый “Вавич”!

Благодаря зачетам, он освободился уже в конце 1954 года. Уехав, писал мне письма из Минска. Другого такого художника в культбригаде больше не было.

В ОЛПе, где одно время находился “Вавич”, содержались каторжанки Воркутлага (не Речлага!) Из них и

набрали женщин в первый состав культбригады. За исключением Э.Божко, все набранные оказались значительно слабее речлаговских женщин. Но из танцовщиц лучшей была воркутлаговка В.Артемяева. Из других, попавших и удержавшихся в культбригаде танцовщиц, благодаря дикому трудолюбию, была одна, Валентина П., уголовница, убившая свою знакомую, чтобы завладеть ее золотыми украшениями.

Кажется, это было ее единственное, но зверское преступление. В культбригаде она вела себя безукоризненно.

Одним из самых ярых противников Лаврова и его ставки на создание синтетического театрального коллектива был, как ни парадоксально, Владимир Калишев, актер, в немецком плену бывший полицаем в лагере военнопленных. Калишев считал себя... советским человеком, а Лаврова и тех, кто пришел в бригаду из Речлага... “контриками”. Человек он был замкнутый, грубый, но, как водится в нашем обществе, из-за этого с ним старались не спорить. Благодаря бывшему пленному В.Прудникову, человеку культурному, Калишев в числе первых получил пропуск и бегал по начальству... Его “труды” сыграли огромную роль в отчислении из культбригады Лаврова и еще ряда одаренных людей, в том числе Пуце, Захарченко и др.

После ухода Прудникова Владимир Иванович Калишев, несмотря на ропот коллектива, был поставлен во главе бригады. На этом посту он оставался до самого ее роспуска. Но никакого творческого вклада в ее работу не вносил и не внес. Это беру смелость утверждать. Увы, ученик великого Б.В.Зона (Ленинградский театральный институт), сам будучи неплохим,

очень органичным актером, что видно по его игре в отдельных отрывках из пьес, как художественный руководитель ничего из себя не представлял. Это был начальник среди нас. Еще один начальник. Никакого сравнения с инициативными Лавровым и Прудниковым! После освобождения последнего бригада уже работала во многом по инерции, отталкиваясь от заряда, полученного в первый год существования. Вероятно, не один В.И.Калишев помогал убрать Лаврова, но то, что он в этой грязной истории сыграл не последнюю роль, бесспорно.

После вынужденного ухода Лаврова бригаду возглавил В.Прудников. Вместе с Лавровым и сразу же вслед за его отправкой за проволоку, из бригады уволили Н.Захарченко и Волдемара Пуце. Последнее особенно отразилось на театральной учебе. Не секрет, что порядочная часть коллектива состояла из очень одаренных любителей. Но все-таки... любителей, не имевших настоящего театрального образования. Впоследствии из Куйбиды, Кутейниковой, Михайлова, Чигрина, Тихонравовой вышли профессиональные исполнители. Но как много все потеряли из-за ухода таких опытных руководителей, как Лавров, Пуце, Захарченко!..

Конечно, на воле возможностей, как в культбригаде, В.Прудников, посвятивший свою дальнейшую деятельность эстраде, не имел. Да и какая филармония могла себе позволить содержание хора, симфонического и эстрадного оркестров, такого количества блестящих вокалистов, музыкантов-виртуозов, чтецов, эквилибристов, не говоря уже об отличной хореографической группе?! Только у ГУЛАГа могло хватить возможностей для содержания подобного коллектива.

Сравнить его можно лишь с Воркутинским музыкально-драматическим театром поры расцвета времен Мальцева-Мордвинова.

Хочу вкратце описать принципы построения отдельных театрализованных программ Центральной культбригады уже после ухода Лаврова. Итак...

Случайная встреча на автобусной остановке. Приехавшая в город журналистка и местный актер. Знакомство. Он предлагает ей стать проводником по местным “театрам и концертным залам”. Город, понятно, оказывается на редкость богатым различного вида зрелищами. Ведущие (“Журналистка” и “Актер”) посещают драматический театр, где видят “Проделки Скапена” (режиссер В.Пуце), оперетту, слушают оперу, заходят даже в библиотеку (!), где перед ними открывается “Книга судьбы” (оригинальный портретный музыкальный политфельетон в антоморесках*, масках Наполеона, Гитлера, Чан-Кай-Ши, Аденауэра, Трумена, шедший в пародийном музыкальном сопровождении). “По пути”, между номерами, “Журналистка” и “Актер” иногда попадают в смешные положения (и у нас не без “недостатков”), в конце концов, несмотря на неизбежные “недоразумения”, влюбляются друг в друга и концертное обозрение заканчивается всеобщим весельем с танцами, пением, разными эксцентрическими номерами.

Другая программа культбригады, после отказа от линии В.Лаврова на создание театрального коллектива синтетического плана, строилась в виде представ-

* Антомореска — вид кукольного представления.

ления на экране телевизора марки “Эстрада”. Участники бригады, как и вообще воркутинцы, еще не видели телевидения, имели о нем весьма отдаленное понятие, но экран и коробку представляли.

Сбоку сцены стоял “телевизор” с большим экраном. “В нем” появлялся Ведущий и контуры начинавшихся номеров, которые затем “переходили” на сценическую площадку.

В “телевизор” случались “неполадки” — то “пропадал звук”, то “изображение”. Ведущему приходилось “настраивать” “телевизор”, ругать “технику”... Все это создавало почву для интермедий, реприз, фельетонов, предшествующих и связывающих разнообразные номера.

Последняя крупная театрализованная программа по мысли не отличалась новизной — “Царевна Несмеяна” (по мотивам программы Л. Утесова). Но, повторяю, возможности огромного состава культбригады были таковы, что непосильного для нее не существовало. На пошив костюмов и изготовление реквизита политотдел и культурно-воспитательный отдел не скупились. В “Царевне Несмеяне” органично переплетались все жанры, начиная с матросских танцев, когда, услышав о воззвании царя Гороха, моряки-артисты пускаются “в путь по морю”, чтобы развеселить “плаксу”:

“Но мы, ребята храбрые,
Сумеем ей помочь,
Не шуткою, так шваброю
Потешим плаксу-дочь.”

Предлагал тему обозрения обычно кто-нибудь из руководителей-режиссеров. Чаще всего Прудников. Потом начиналась заготовка текстов интермедий, паро-

дий, текстов на уже знакомые мотивы. Этим, являясь одновременно чтецом, иногда Ведущим и артистом драматического театра, занимался я.

Иногда приходилось срочно по только что услышанному по радио составлять совершенно новые тексты. Так писал я текст венгерской лирической песни “Журавли”. Слов никто не понял и не разобрал. А настроение схватили. Чуть прозвучали по радио “Большие бульвары” Ива Монтана, как по обрывкам французских фраз, которые удалось запомнить, мне сразу же, додумывая остальное, пришлось составлять текст песни по-русски и т.д. Каждая программа отдельно оформлялась, сперва художником В.В. Алтуфьевым, потом С.Свирским. В костюмерной для каждого имелась концертная одежда (костюм черный для мужчин, для женщин — в зависимости от характера исполняемого номера и отдельно для женщин в хоре, а также, понятно, для драматических сенок и танцев).

Репетировали сперва с концертмейстером, затем — с оркестром.

Уход Лаврова прервал большую работу над постановкой “Веселой вдовы”. Одновременно В. Пуце с группой драматических актеров начал готовить в очень интересном решении с музыкальными и балетными вставками “Проделки Скапена” Мольера. Работу Пуце продолжил после отправки Волдемара Петровича за проволоку способный любитель Гришин, сам отлично выступивший в роли Жеронта. Скапена хорошо играл актер (забыл фамилию), оказавшийся во время войны в плену за рубежом, убежавший к партизанам Броз Тито, сражавшийся в их рядах, награжденный югославским орденом, а затем, по возвращении на

Родину, обвиненный, как положено, во всех смертных грехах и получивший 25 лет заключения ни за что ни про что.

Воркутинский драматический театр и его главный режиссер Н.Г. Гайдаров с опаской поглядывали на растущую популярность ансамбля “врагов народа” и, когда политотдел консультировался с Гайдаровым, пользовавшимся большим авторитетом, последний поддерживал идею создания эстрадной бригады: зачем Воркуте еще один театр?..

Это также косвенно способствовало снятию Лаврова с поста руководителя. Его заступник генерал Дервянко уже был отозван из Воркуты. Владимир Прудников при поддержке конференсье Л.Фикса и, как ни странно, драматического актера В.Калишева, особенно настроенного против Лаврова, ратовали за создание большого эстрадного коллектива. Поэтому они даже не стремились вовлечь в культбригаду таких прекрасных драматических актеров, как заслуженный артист РСФСР А.П.Цветухин, томившийся в ОЛПе второй шахты, и разносторонне образованного актера, прекрасного хореографа и вокалиста (забыл фамилию), немца по национальности, замечательного энтузиаста, пребывавшего за проволокой ОЛПа шахты № 27.

Но уже на пороге пятьдесят пятого года Прудников и танцовщица Артемьева освободились, как и Л.Фикс и еще ряд ведущих участников коллектива.

С начала 1955 года культбригада катастрофически таяла. Редел оркестр без Ю.Титова и А.Дреслера; освободились ведущие вокалисты - Б.Раджус, Юдин, С.Ребриков, Н.Синицин, молодой актер Ю.Волков, сразу же принятый вместе с В.Лавровым в состав Воркутинского драматического театра, и другие.

Вместо освободившихся приходилось набирать новых участников, послабее. Но все же Калишев, несмотря на предложения, так и не взял А.П.Цветухина, который, будучи также режиссером, мог принести большую пользу бригаде. Правда, и во “второй волне” встречались индивидуальности, впоследствии занявшие достойное место на профессиональной сцене. К таким относится В.Соллертинский, ставший актером первого плана на воркутинской драматической сцене, прекрасный исполнитель роли Городничего и других ведущих характерных ролей в классическом и современном репертуаре. В.Соллертинскому не присвоили почетного звания только из-за его “прошлого”, когда он мальчишкой по пятьдесят восьмой статье попал на каторгу.

Навсегда, до смерти связал свою жизнь с Воркутинским театром на посту заведующего музыкальной частью музыкант культбригады Валерий Демин, остро чувствовавший сцену и написавший музыку ко многим спектаклям не только заполярного, но и других, в том числе ленинградских, театров.

Многие из артистов культбригады стали впоследствии ведущими исполнителями в разных ансамблях, на разных сценах. Коми Республиканскому театру оперы и балета много лет отдал заслуженный артист В.Михайлов, начинавший в танцевальной группе бригады под руководством М.Бусловича, впоследствии постановщика танцев в Коми ансамбле песни и танца, а также в ансамблях городов Поволжья. Это только отдельные примеры. Ученики Бусловича — Челпан, Чигрин, Шильских, Хаджиева, Михайлов, Ухов, Артемьева получили у него настоящую школу профессионального мастерства.

Хочется еще отметить молодую эмоциональную актрису Татьяну Палагину (ее “взяли” со второго или третьего курса ГИТИСа, как и Ю.Волкова). Человек большой культуры, Палагина прекрасно читала. Впоследствии она работала режиссером телевидения в Москве. Многообещающие способности Татьяны, как, впрочем, и большинства артистов, в дальнейшем не находили достойного применения: лучшее время жизни осталось у них за проволокой... Последнее выступление Центральной культбригады КВЧ носило несколько анекдотический характер. В 1957 году в Сыктывкаре проходил финальный смотр Республиканского фестиваля молодежи. Воркута (вольнонаемная) к нему не подготовилась. А ударить в грязь лицом руководству заполярного города и Комбината “Воркутауголь” не хотелось, и городское партийное и советское руководство по-свойски договорилось с руководством Воркутлага. В Сыктывкар в сопровождении нескольких, одетых в штатское, “товарищей”-охранников, отправили с цельной программой “художественную самодеятельность города шахтеров” — заключенных культбригады. Конечно, несмотря на то, что к тому времени она была значительно ослаблена, ее выступление прошло на ура. Коллектив “воркутинской самодеятельности” и все его участники стали лауреатами Республиканского фестиваля молодежи Коми АССР и вернулись в Заполярье с почетными грамотами и нагрудными значками.

Вскоре после возвращения культбригаду распустили. Ряд лауреатов фестиваля, не подлежащих амнистии, вновь очутились за проволокой, где, ввиду послабления режима, продолжал и в зонах гордо носить на груди свои лауреатские значки...

Вообще же с 1956 года в культбригаде вместе с заключенными работали также вольнонаемные из тех, кто освободился из бригады и до поры не устроил свою артистическую судьбу. Затем отдельные оказались руководителями коллективов художественной самодеятельности в шахтерских поселках Воркуты (например, Заячковский, Гонтковский, Фикс), другие стали организаторами первого заполярного театра кукол.

Часть III. Кукольная эпопея

*Памяти заслуженного деятеля искусств
Латвийской ССР Волдемара Петровича Пуце
и заслуженного работника культуры Коми АССР
Михаила Алексеевича Буторина*

Михаил Алексеевич умер семидесяти пяти лет от роду. Умер в Крыму. Он единственный из тех, кому я посвящаю этот очерк, не был в заключении. Он был беспартийным. Участвовал в ожесточенных боях на Волхове, потом на Малой Земле. Приехав в Воркуту, сперва был главным художником воркутинского драматического театра, затем накрепко связал свою судьбу с кукольным. Он был одним из тех вольных, которые без всякой предвзятости сердечно относились к кукольникам, многие из которых были “бывшими”. Пусть эта доброта зачтется этому истинно русскому человеку.

Не только драматический, но в еще большей степени Воркутинский, ныне Республиканский, театр кукол

являлся детищем лагерного периода театральной жизни Воркуты.

Историю Республиканского театра кукол, базирующегося в Воркуте, принято отсчитывать с конца 1955 года. Но на самом деле истоки кукольного искусства в Воркуте таятся в Воркутлаге и Речлаге с самого начала пятидесятых годов. Среди причин его рождения отделение в то время женщин от мужчин, что значительно снизило заинтересованность в выступлениях на сцене без женщин (на зрителях это, само собой, также отразилось). Тогда отдельные искатели новых форм пытались в концертах разнообразить репертуар, а то и в драматических представлениях, где явно не хватало женщин. Конечно, часто, “по-шекспировски”, женские роли исполняли мужчины. Но постепенно в каждом ОЛПе “свои артисты”, а они по несколько лет выступали из концерта в концерт перед теми же зрителями, надоедали. Вот тут-то почти одновременно в разных ОЛПах стали вспоминать об искусстве театра кукол, в то время и “на воле” завоевавшего, благодаря Сергею Образцову, всеобщее признание.

Не сразу лагерные кукольники поняли, что ширма требует своей особой драматургии. Заметили это, когда пытались ставить на ширме комедии или отрывки из них. Так, известно, что на 27-й шахте пытались ставить сцены из “Мещанина во дворянстве” Мольера, а на одной из речлаговских сцен — из “Недоросля”.

Сперва, увидев кукол, зрители оживлялись, но вскоре, привыкнув к необычным “актерам”, начинали скушать, тем более, что куклы, как правило, были весьма несовершенными. Тогда попытались сами инсценировать сказки. В ОЛПе шахты № 40 поставили “Волшеб

ную лампу Аладдина”. В некоторых других ОЛПах — сами инсценировали и показывали короткие инсценировки русских народных сказок, вроде “Сказки о братце Иванушке и сестрице Аленушке”. Кое-где стали успешно вводить в концерты отдельные номера с куклами сатирического характера, что имело неизменный успех. Инсценировали басни С. Михалкова и И. Крылова, что очень разнообразило концертный репертуар и отлично принималось зрителями. Последних особенно радовало, когда они в персонажах басен, в их поведении узнавали свой быт, его яркие и нелепые черты.

Так играли басни в ОЛПе шахты № 2 и шахты № 25. В ОЛПе шахты № 25 постановка кукольных сцен стала возможна после прибытия Артура Дреслера, скрипача и аккордеониста, мастера на все руки. Он сделал ряд кукол для выступлений в ОЛПовских концертах. Среди этих кукол — отличная мимирующая, использовавшаяся несколько раз в различных сатирических сценках, очень удобная перчаточная кукла Зайца для ряда басен; кукла цыганского исполнителя романсов “Перидеригорлова” с шеей, вытягивавшейся при заключительной высокой ноте более, чем на метр, и т.д.

Расскажу вам кое-что про кукольные номера. В басне “Осел и Соловей” Осел шевелил огромными ушами. Это, конечно, было не дивом, но когда раздосадованный “ослиным судом” Соловушка вдруг взвился вверх и со сцены полетел стремительно над головами зрителей через весь длиннющий зал и скрылся в окошке кинобудки, пролетев не меньше тридцати метров, восторгу публики не было предела.

В инсценировке “Заяц во хмелю” Лев, схватив Зайца “за шкирку”, подставлял ему под мордочку пустую

поллитровую банку: дыхни, мол. Заяц “дыхнул” и тогда следовала реплика Льва: “Да ты, я вижу, пьян?..” На вахте возвращавшихся с работы каторжников проверяли охранники точно таким же образом, заставляя их “дыхнуть” в пустую стеклянную банку. Затем нюхал сам охранник и определял — пахнет спиртным или нет. Конечно, в инсценировке такой узнаваемый момент вызывал гомерический хохот в зале. В ОЛПе шахты № 7—8 “Рудник”, одной из старейших в Заполярье, заключенные выступали с миниатюрами, исполняемыми куклами-марионетками. В Центральной культбригаде я с успехом выступал с антоморесками, хорошо сделанными художником С.Свирским.

Известны и многие другие случаи использования кукол на лагерной сцене.

Когда начали освобождаться заключенные по пятьдесят восьмой статье, многие из них сперва остались в Воркуте и здесь искали работу. Если у шахтеров этот процесс проходил довольно безболезненно: работал в шахте и остался на ней, то у многих представителей других профессий, в частности у актеров, вопрос о трудоустройстве не был праздным. Воркутинский драматический театр смог принять в штат лишь трех-четыре человека (двух актеров, музыканта и костюмершу). Вот тогда, в 1954 году — начале 1955-го, бывший заключенный малосрочник М.Шульман, известный впоследствии больше как администратор, организовал труппу кукольников и даже выехал с ней на гастроль в Инту. Однако, тогда детей в Приполярье, как и в Воркуте, было еще немного (не сразу бывшие каторжанки смогли разыскать и получить своих детей из разных приютов). И вскоре выступить оказалось не перед кем.

Кукольники были бедны, как церковные мыши. Ни средств, ни опыта. Профессионалов среди них не было, в лучшем случае, драматические актеры в прошлом, да и те, кажется, без специального образования.

Гастроль кончилась крахом. Кукольники, кто как мог, добирались в товарных вагонах и даже на платформах до “родной Воркуты”. Группа сразу же поредела. Сам Шульман, получив возможность выезда, уехал.

Осталось четыре человека во главе с артистом В.И. Панфиловым, не имевших работы, но интуитивно чувствовавших необходимость нового вида искусства для быстро растущего города. Воркута после роспуска лагерей росла не по дням, а по часам. Уже через год недостатка в зрителях у кукольников не стало. В основном, это были дети бывших каторжниц или заключенных по другим статьям, родивших в неволе. Ширилась сеть детских садов и школ.

После Шульмана по предложению заведующей отделом культуры горисполкома, инициативной Е.И. Третьяк, вышедшей замуж за бывшего заключенного, московского режиссера Марголина, последнего назначили директором организуемого театра кукол, не имевшего ни места, ни денег, ни официального признания. Он выступал под покровительством Отдела культуры горисполкома — и все. Но у Отдела не было денег на его содержание, а жить с мизерных сборов не представлялось возможным. Вскоре Марголин уехал в Москву.

Тут его место занял актер и режиссер Александр Петрович Серегин, освободившийся из культбригады, где пробыл недолго, а до того ставил спектакли и сам в

них играл в одном из ОЛПов. Так, помню его в постановке “Коварство и любовь”, например. Серегин в начале тридцатых годов учился в Ленинградском театральном техникуме, стал неплохим актером и режиссером. Участник войны, он попал в Воркуту не по пятьдесят восьмой статье, хотя первоначально имел срок 25 лет заключения в лагерях! Когда началась “оттепель”, ему сразу сняли 20 лет, а так как он пять уже отбыл, то освободили. К Серегину присоединился Ю.Панфилов, а также бывшая профессиональная актриса, также не по своей воле оказавшаяся в Воркуте, З.Золотова.

Надо отдать должное Е.И.Третьяк, она постоянно поддерживала кукольников и, не исключено, что если б не она, только зарождавшийся театр погиб бы.

Серегин пригласил в труппу освободившегося актера В.М.Забродина, некогда игравшего в Маньчжурии то ли в театре, то ли в любительских клубных спектаклях, и привлек к своему театру режиссера и куклодела В.П.Пуце, о котором я уже писал в предыдущей части очерка. Пуце был прекрасным резчиком, скульптором, художником, помимо своей основной профессии режиссера. Пуце находился после “сокращения” из культурбригады на так называемом “вольном поселении за зоной”, где жил с приехавшей к нему из сибирской ссылки женой, Дайлой Яновной, оказавшейся прекрасным кукольным костюмером. Она приехала с сыном Инесом, ставшим впоследствии в Латвии актером.

Много крови и нервов перепортили Волдемару Петровичу бездушные режимники. Не раз вдруг, ни с того ни с сего, его вновь водворяли в зону. Дайла Яновна бежала к Серегину, тот к Третьяк и вызволяли Волде-

мара Петровича. Проходило две-три недели — его снова загоняли за проволоку и опять нервотрепка, опять Серегин и Третьяк хлопочут. Так много раз. Волдемару Петровичу уже стукнуло пятьдесят. Около десяти лет он провел в заключении. Все такие неприятности тяжело переживались им и Дайлой Яновной.

Среди первых постановок Серегина был “Волшебный пруттик”. Затем последовали другие сказки. Детская аудитория восторженно принимала выступления своего театра.

Из невыразимого тряпья, всяких лоскутьев Дайла Яновна шьет прекрасные костюмы куклам. Только что освободившийся Пуце и Краулис создают куклы сперва тяжелые, но с каждым спектаклем все более легкие и выразительные. От неудобных кукол на портгпитах*, носимых на груди, переходят к коротким, каждый тщательно подгоняет под себя механизм куклы. Куклы, в основном, тростевые. Но по мере необходимости пользуются также головными и куклами-перчатками. Материал на все это дело выискивают в отходах шахтных столярок и разных мастерских.

Сложнейшими были вопросы транспортировки к месту выступления и обратно. Не забуду, как в сумрачный вьюжный вечер мы тащили по глубокому снегу по еле различимой тропке детские санки, наш транспорт, от железнодорожной станции Мульда через тундру к поселку шахты № 27, чтобы попасть на последний автобус (поезд с Мульды почему-то не шел).

Выбивались из сил. Ноги вязли в снегу. Сани, на которых были привязаны ящики с куклами и детали де-

* Портгпит — приспособление-держатель куклы.

кораций, постоянно опрокидывались. Шедшие первыми молодые девушки не тащили саней, а потому оторвались от остальных.

В конце концов оказались “в хвосте” двое, артистка Л.Андрейко и я. Она выбилась из сил окончательно и молила, чтоб я ее оставил в тундре. Я тащил сани и ее, ухитряясь отругиваться в ответ на ее отчаянные просьбы.

Каким чудом объяснить, что в начавшейся пурге мы не сбились с пути, не знаю. Только, не видя огней домов, я вдруг ткнулся в стену здания. Это начинался поселок двадцать седьмой шахты.

Обогнув здание, мы с новыми силами поспешили к конечной остановке автобуса. О чудо! Он не уехал. Он нас ждал, вопреки всем расписаниям! Последний автобус!

Пришедшие первыми молодые симпатичные девушки-актрисы Михайлова и Корнева сумели уговорить шофера подождать нас. Автобус ждал полтора часа. Но разве мог шофер отказать молодым актрисам?!

Благодаря Третьяку кукольникам выделили комнату в доме пионеров. Опять же все время приходилось бороться за это помещенье, так как хозяева безжалостно и бездумно выселяли труппу, работавшую для детей. Серегин привлекал в театр все новых освободившихся актеров. Кроме того, в качестве художника и кукольщика он привлек отличного графика Висвальдуса Краулиса, чьи работы впоследствии стали довольно широко известны в Коми АССР, а также виртуоза баяниста, освободившегося из культбригады Петра Цыбулина, великолепно чувствовавшего природу кукольного театра и создавшего прекрасное музыкаль-

ное оформление к ряду спектаклей. Главным режиссером при директоре Серегине горисполком назначил заслуженную артистку УССР З.В. Утехину (жену главного режиссера драмы Н.Г.Гайдарова). Она первое время очень способствовала творческому росту молодых актеров, так как была эрудированной интеллигентной женщиной. К сожалению, она недооценивала специфики кукольного действия и, являясь единственным членом КПСС среди “бывших”, за исключением двух девушек, смотрела на прочих весьма бдительно... Когда освободившийся наконец В.П.Пуце получил разрешение выехать в Ригу, он сперва не решался; пришел к Утехиной и попросил, чтобы ему доверили хотя бы одну постановку в год. Утехина сказала ему буквально следующее: “Я вас глубоко уважаю, как человека и художника, но, к сожалению, не имею к вам... политического доверия...” В.П.Пуце уехал в Ригу, на родину, где вскоре ему доверили не только отдельные постановки в Республиканском театре оперы и балета, а также в кукольном, но и назначили главным режиссером Республиканского театра оперетты, который он успешно возглавлял много лет, почти до самой своей смерти, являясь Заслуженным деятелем искусств Латвийской ССР. Пуце не был реабилитирован и не пытался хлопотать об этом. Он выезжал за границу с театром и без него и не нарушил “политического доверия”, хотя мог бы предъявить Советской власти довольно большой счет... В Латвии он также поставил художественный фильм “Землемеры” (что-то в этом роде) и пользовался заслуженным почетом и уважением. Уже после смерти Дайлы Яновны, незадолго до его кончины, он приехал со своей дочерью, чтобы показать ей Ворку-

ту, где она родилась. Проезжая Сыктывкар, они остановились у меня и я был счастлив провести с ними пару дорогих вечеров.

В конце 1955 года З.В.Утехина поставила кукольный спектакль “Маленький парижанин “ (про Гавроша), чуждый природе театра кукол. Но затем через год поставила с великолепными куклами, сделанными Пуце, “Волшебную лампу Аладдина”. Спектакль по настоянию Е.И.Третьяк просмотрела сессия горисполкома и, придя в восторг, выделила кукольникам, сидевшим несколько месяцев без гроша в кармане, десять тысяч рублей.

Не по дням, а по часам театр креп творчески. В него, кроме меня, позднее, после расформирования культбригады, вошли, ставшие хорошими кукольниками, Э.Кудименко (Смирнов) и Ю.Самохин. Очень способной оказалась девушка Роза Михайлова, к сожалению, вскоре уехавшая в другой театр. Долгое время работала в театре и ее подруга Надежда Корнева. Театр стал ставить все больше сложных спектаклей и расширять свою аудиторию.

С начала 1957 года Министерство культуры Коми АССР, благодаря зам.министра Серафиме Михайловне Поповой, взяло театр на свой баланс. Только с весны кукольники стали регулярно получать зарплату. Изголодавшиеся в лагерях и в период становления театра актеры вздохнули с облегчением. Еще долго пришлось им ждать получения своей машины и... помещения. Долгое время репетировали, базируясь в пристройке к парникам, где то парились, то мерзли. А на выездах пользовались попутными машинами, включая (спасибо им!) скорую помощь, пожарных и даже самосва-

лы. До 1958 года, когда появился свой грузовик, кукольникам пришлось много перетерпеть. Из-за неустроенности они потеряли способных актеров, например, Ларису Андрейченко, тоже бывшую каторжанку, к которой прибыла из детского дома ее дочь.

Весной 1958 года кукольники совершили первую большую гастрольную поездку по Республике Коми, ее городам и сельским районам, побывали в Сыктывкаре, где заслужили самые лестные отзывы прессы и многочисленных деятелей культуры, просматривавших спектакли гостей. Таким же триумфальным оказалось посещение Котласа, городов и поселков Архангельской и Вологодской областей.

Театр утвердил свое право на существование. Правда, относительно сносное помещение он получил лишь после трех десятилетий мытарств по разным “приютам”. Но если Воркутинскому драматическому театру в 1993 году исполнилось полвека, то кукольному — в 1994 году — сорок лет.

Только родившаяся, как и эти коллективы, в Воркутлаге Центральная культбригада, сверкнув своими “звездами” на полярном небосклоне, просуществовала всего около трех лет и... погасла. Но ее питомцы, подконвойные, подневольные артисты, внесли свежую струю в заполярную драму, создали театр кукол и вошли с честью во многие другие театральные и филармонические коллективы в России и за ее пределами.

*Памяти моих друзей —
заслуженных деятелей искусств Коми АССР,
бывших заключенных Натальи Альбертовны
Генчель и Николая Николаевича Массальского*

ЧЕТЫРЕ ЭТЮДА. 1951-1952

Что это? Этюды, маленькие новеллы, рассказы?.. Не скажу. Но страсть к сочинительству жила во мне всегда, с детства. И без великой страны Фантазии я немыслил жизни и не мог мыслить в ней. Пробы пера были и в школьное довоенное время, и в студенческие годы. Даже в один из первых дней войны я составил для одного из моих любимых учителей по актерскому мастерству — Николая Андреевича Тенуева, — умершего затем от голода во время ленинградской блокады, небольшую театральную композицию для исполнения в артистической бригаде под руководством Николая Андреевича.

Но по-настоящему занялся я писательскими опытами только в заключении. В Сиблаге я написал ряд порнографических стихотворений и даже переделал на тот же дикий лад “Сказку о царе Салтане”. Как вспоминаю, во всех этих “барковских” произведениях было много по-настоящему поэтического, если исключить многочисленные нецензурные выражения.

В Воркутлаге я начал писать стихи и маленькие пьесы комического содержания для самодеятельной сцены. Некоторые из них, а они, включая мою инсценировку знаменитого “Маттео Фальконе” Проспера Мери́ме, а также рассказов А.П.Чехова “Сапоги”, “Хирургия”, “Хамелеон”; ряд комических одноактных пьес

— “Куриная проблема” (из времен оккупации), “В магазине” и многие интермедии и куплеты, пользовались неизменным успехом на лагерной сцене. Но хотелось испытать силы в большем...

Врач Антон Викторович Лесничий, вкусу и эрудиции которого я мог довериться, посоветовал мне в 1951-52 годах (я тогда стал работать в библиотеке) испытать силы в прозе. Для начала я наметил десять этюдов. Но успел написать лишь четыре: попал на общие работы и оставил труд незавершенным. К счастью, тетрадь с этими новеллочками-этюдами мне удалось сохранить. Через много лет, просматривая ее, я решил, что ее содержание сможет приоткрыть кое-какие сокровенные мечты или мысли заключенного, не имевшего права даже в своих записях касаться темы своего настоящего подневольного положения. Но намек на это все же я допустил в “Бездне”. Остальное — воспоминание о том, что было когда-то и... фантазия...

ДЕВУШКА В КРАСНОМ

Сорокапятилетние мужчины говорили о женщинах и любви. В беседе не было ничего циничного и ничего того, что заурядно называется возвышенным. Вспоминали и актрис, тех недосыгаемых звезд, в которых дозволено влюбляться миллионам, не вызывая ни в ком ревности. Даже наоборот — увлечение одной и той же кинозвездой обычно сближает людей и подчас делает их друзьями.

Люди, по-настоящему интеллигентные, говоря о какой-либо женщине, не так восторгались ее наружностью

тью, как искали в ней тот особый “шарм”, как говорят французы, который заставляет ее покоряться и после встречи думать о ней с благодарностью, так как ее образ врезался светлой картиной в траурную рамку человеческой памяти.

Т., бывший актер, спросил: “А не случилось ли вам быть влюбленным в неизвестную, незнакомую, один раз мелькнувшую женщину, причем встреченную в совсем будничной обстановке?”

— И надолго влюбленным? — Быстро спросил один из собеседников.

— На всю жизнь!

— Ну, это уже романтика! Самовнушение! Обман чувств. — Почти хором заговорили собравшиеся.

— Не знаю. Спорить не могу. — Сказал Т. — Сам не могу понять, почему этот образ не дает мне покоя. Почему я ее люблю вопреки разуму, вопреки всему укладу жизни?

Почувствовав, что Т. готов рассказать о своей встрече с незнакомкой, все замолчали и Т. начал:

“Это было тридцать лет тому назад, задолго до той войны, которая разбила мою жизнь и оторвала ее от сцены. Мне шел восемнадцатый год. Летним вечером я возвращался пригородным поездом в Киев от знакомых, у которых гостил в дачной местности. В вагоне было душно. Я вышел на площадку и закурил папиросу. Мимо плыли качающиеся силуэты темных кустов и деревьев. При ускорении движения они сливались в сплошную черную стену, слегка подернутую белесым туманом. Иногда его прорезало синеватое стекло какой-нибудь речки. Стучали колеса. Пахло дымом.

Тут же на площадке стояли двое молодых людей и

девушка. Они, видимо, возвращались из загородной прогулки. Молодые люди, кстати, оба старше меня, ничем не привлекли моего внимания, но девушка мне показалась интересной. Это была стройная светлая шатенка с большими карими глазами и чудесными бархатными ресницами. Лицо ее не было тронато косметикой. Ростом она была чуть выше среднего. Круглолицая, в меру полная, румяная и загорелая. Загар ее слегка отливал бронзой и еще более выделял прекрасные волосы, свободно опускавшиеся на плечи, и глаза, большие и внимательные. На ней было открытое платье красно-бордового цвета, типа сарафана, до колен. Туфли на высоких каблуках были одеты на босые стройные ноги; на них серебрились волоски, выгоревшие от солнца.

Не помню уже, как завязался разговор у меня с ее спутниками. Они, как и она, были студентами индустриального института. Сперва она в разговоре не участвовала. Но, когда я сказал, что учусь в театральном, девушка тоже вступила в беседу и задала мне несколько вопросов. Я отвечал небрежно, потому что считал все профессии ниже мною избранной. Однако, постепенно я оживился и с искренним увлечением кратко обрисовал характер наших занятий по актерскому мастерству, ритмике, танцу, истории театра. Рассказал и о трудностях, особенно для девушек, проходящих огромный конкурс при вступительных экзаменах. Она задумалась. Должно быть, интересная девушка тоже мечтала о театре, и ее глаза стали грустными. Я в душе ей искренне посочувствовал, так как считал, что жизнь на этом скучном суетливом свете вне театральной деятельности — большое несчастье. Я очень любил, да и

сейчас люблю безумно свою профессию, хотя моя жизнь в ней не состоялась по независящим от меня причинам.

Уверен, что тогда у девушки шевельнулось в душе большое тоскливое желание. Перед ней прошла несбыточная для нее мечта. Или ей стало досадно и обидно, что она не попробовала свои молодые силы на этом поприще? Ее глаза стали еще серьезнее и задумчивее. Хорошие карие глаза. Какие-то особенные, добрые и проникающие в душу.

Она держалась просто, скромно, без тени рисовки или кокетства. Да они и не нужны были ей, всей ее стати и этим лучистым золотистым глазам.

Поезд подошел к городу. Мы простились, не познакомившись. Некоторое время я об этой девушке не думал. Но как-то через полгода, а то и больше, почему-то вспомнил, вспомнил случайно и стал мучительно восстанавливать в памяти ее облик и обстоятельства нашей встречи. И я... влюбился в нее. Я понял, что могу и буду жить без нее, но что мне всегда будет в жизни не хватать ее, кареглазой, стройной девушки в красном платье. Я ее никогда не найду, искать не буду и всегда буду думать и мечтать о ней такой, какой тогда увидел.

С тех пор я прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы, влюблялся и иногда был любим; “дышать не мог” без своих любимых, но всегда поневоле как-то сравнивал каждую свою новую “любовь” с ней и видел, что всем до нее далеко. Не красотой, нет. Чем-то другим, особенным, какой-то гармонией всего облика, душевным обаянием, которое, кажется, отражалось в ее задумчивых карих глазах. И где я ни был, уверен, где я ни буду, — этот образ никогда не исчезнет из моей

памяти и в жизни останется еще одна большая горькая неудовлетворенность. И даже, если бы мне пришлось ее встретить и она теперь, через многие годы, сказала бы: “Это я была той девушкой в красном”, и, если бы я убедился в правде ее слов и мы познакомились, все-таки я бы сказал ей: “Это были не вы, а другая, вечно молодая в моей памяти”. Она стала для меня воплощением гармонии, той душевной теплоты, которой так не хватает усталому, прибитому жизнью человеку.”

Никто не пытался поспорить или поддержать высказанное Т.

ЕЕ ЗОВУТ АЛЛА

Нервно вздрогнув, погас огонек коптилки. Сквозь маленькое полуразбитое окошко в помещении просочился молочный свет холодной зари.

Всю ночь метавшиеся в бреду сыпнотифозные больные утихли.

Татьянин скинул с горячей груди шершавую шинель, с трудом приподнялся на локтях и прислонил ноющую голову к тонкой стенке, из-за которой раздавалось хриплое бормотание умирающих.

Боль в висках и затылке усилилась и ему показалось, что кто-то, маленький и проворный, долбит тупым долотом его голову, то за правым ухом, то за левым.

— Только бы не потерять сознание. — Мелькнуло в мозгу. — А то в бреду я еще, чего доброго, выболтаю, что я вовсе не тот, за кого себя выдаю.

Он крепко стиснул зубы, на мгновение пересилив го-

256

ловную боль, приоткрыл глаза и вдруг почувствовал, как что-то опять властно зажимает виски, резко запрокинул голову назад.

Он погрузился в раскаленную атмосферу кошмара и пестрым, как павлиний хвост, веером раскинулись мечты и воспоминания, причудливо сплетаясь и исчезая перед его закрытыми, но видящими глазами. Чьи-то белые упругие колени сжали голову. Душистые мягкие женские волосы упали на лицо, защекотали горячую грудь. Он почувствовал, что кто-то упрямо ищет его взгляда. Свежее дыхание коснулось его лица. Он открыл глаза и увидел ее лицо, такое близкое и дорогое, что сдавило горло, перехватило дыхание.

— Алла. — Произнес он и сам удивился глухому звуку этого, некогда такого звонкого имени.

Она не отвечала и только пристально грустным взглядом смотрела на него. И в каждом из ее зрачков он видел свое лицо, вытянувшееся двумя белыми треугольниками вершинами книзу с глубоко запавшими угольками горящих глаз. Его голова теперь лежала у нее на коленях, как когда-то, не так давно, в другую ночь, сблизившую их навеки.

— Алла, почему ты молчишь? Я люблю тебя, Алла! Я для тебя, для любви окунулся в эту грязь и кровь, забыл все и всех, чтобы лучше понимать тебя одну, чтобы иметь надежду увидеть тебя и опять покорно положить голову на твои колени.

Она не отвечала. В ее глазах он больше не видел отражения своего лица. Только зеленоватые огоньки мелькнули под черными стрелками бровей. Лицо ее вдруг засветилось каким-то особенным мягким светом и чуть выделявшаяся в окружающем полумраке зари

женщина показалась ему прекрасной, как никогда. И он узнал в ней... Смерть.

— Ее зовут Алла! — Маленький человечек снова проворно застучал долотом по голове. В ушах зашумело. Грязные, с обвалившейся штукатуркой стены помещения повернулись и снова стали на место, зияя многочисленными трещинами. В нос ударил раздражающий запах махорочного дыма.

Спиной к Татьянину двое подпоясанных веревками оборванных пленных, санитар и могильщик, о чем-то говорили вполголоса.

— Ее зовут Алла. — Передавая товарищу недокурную сигарку, сказал могильщик. — Молодая, с обмороженными ногами. Фершал говорит, что ничего ходить будет. Только больно отошала. Из окружения.

— Давно здесь? — Спросил санитар.

— Дней пять. Уже на поправке. Да что ей, бабе? Кругом дорога. И там, говорят, с полковником жила.

Собеседники замолчали.

— Откуда она? — Вдруг хрипло спросил Татьянин.

Санитар обернулся: “С Ленинграда. Как себя чувствуете, Андрей Степаныч?”

— Сейчас — ничего, спасибо. А где она?

— В центральном бараке. Ей там комендант отдельную комнату отвел.

— Я хочу ее видеть.

— Да вы что, Андрей Степаныч?! — Начал отговаривать его санитар. — Вы и на ногах не стоите.

Но все уговоры санитаря были напрасны. На все доводы больной со всевозрастающим раздражением твердил одно и то же: “Отведите меня к ней. Я хочу ее видеть.”

Татьянин понимал, что внезапная встреча с самым дорогим и близким человеком может принести только несчастье: она, конечно, сразу узнает его и назовет настоящим, прежним именем, которое он вынужден так тщательно скрывать здесь, где малейшая оплошность может стоить ему жизни. Он это понимал и все-таки настаивал.

Он упросил позвать парикмахера, так как не в силах был даже побриться. Его долго брили тупым лезвием безопасной бритвы. С трудом причесали вьющиеся, сбившиеся в густой ком волосы, и одели. Тут у него закружилась голова. Его положили на нары и хотели раздеть, но он знаком запретил это, и, когда через несколько минут немного пришел в себя, сказал: “Ведите”.

Два санитары подхватили его под мышки и не столько вывели, сколько вынесли на улицу.

Солнце стояло уже высоко. Кругом мелькали желтогрязные шинели пленных. Встречные громко его приветствовали, называя по имени и отчеству. Он пытался улыбаться, кивал головой в ответ на слова, глухо доносившиеся до него как будто сквозь слой ваты, но почти никого не узнавал: все окружающее казалось подернутым дымкой тумана, густо насыщенного беспрерывно мелькавшими перед глазами черными и серыми точками и черточками.

Его привели в центральный барак, в кабину, где он находился до болезни. Там его окружили лживым вниманием те, которые ненавидели и боялись его, — заправила лагеря, полицейские, пытавшиеся наживаться на беззащитности своих товарищей по плену.

Они обедали. Татьянина усадили на койку. Предло-

жили обед. Он отказался и молча смотрел несколько минут на этих здоровенных хлопцев, всецело занятых только едой.

Первым поднялся из-за стола старший: “А у нас, Андрей Степаныч, пополнение. — Сказал он, вытирая рукавом новой гимнастерки жирные губы и подсаживаясь на койку рядом с Татьяниным. — Девчонка!” — И, прищурившись, полушепотом добавил: “Ленинградская. С образованием. Мы к ней и так, и сяк, сами понимаете. Но нельзя: слаба еще. Ну да как поправится...”

— Что “как поправится”? — Встретив тупой взгляд старшего в упор, спросил Татьянин.

Тот поежился, виновато улыбаясь, отвел глаза и выдавил: “Сами понимаете... Ребята мы молодые, здоровые, а это... женщина...” — И опять утер губы рукавом.

— Скоты, скоты... — Покачал головой Татьянин. — Где она?

— В соседней комнате, вот за стенкой. Прикажете позвать? Сейчас позову. — Засуетился старший.

— Не надо. Сам к ней зайду. — Остановил его Татьянин и, собрав силы, встал на ноги, крепко уцепившись правой рукой за край колченогого стола.

Полицейские бросились к нему, пытаясь подхватить его под руки, но он слегка отстранил их; держась за спинки стульев, добрался до порога, затем, придерживаясь рукой за стенку, сделал несколько неверных шагов по коридору и постучал в соседнюю дверь.

— Разрешите войти? — Произнес он, тяжело дыша, на самых низких нотах, чтобы не быть узнанным.

— Пожалуйста. — Ответил приятный женский го-

лос и Татьянин, не успев еще разобраться, знакомый ли это голос или нет, вошел и поспешно прикрыл за собой дверь.

Высокая молодая женщина с бледным лицом и очень живыми серыми глазами стояла вполоборота к нему у покрытого вышитым полотенцем длинного ящика, поставленного на-попа, и заменявшего туалетный столик.

— Здравствуйте! — И сразу внутри его что-то обрвалось: это была не она.

— Вас зовут Алла?

— Да.

О чем же было говорить, когда перед ним стояла совсем незнакомая женщина.

— Вы, надеюсь, меня извините, мне сказали, что вас зовут Алла. С этим именем связаны мои лучшие воспоминания о недавнем прошлом.

Она посмотрела на него очень серьезно: “И вы...”

— Да. — Быстро подхватил он ее мысль. — Я боялся, что на вашем месте окажется другая, которую бы я ни за что не хотел видеть здесь.

Она грустно усмехнулась: “Теперь вы убедились в ошибке?”

— Убедился. Но из этого не следует, что успокоился. — Наступила пауза. Она прервала молчание: “Мне про вас уже рассказывали. Вы — инженер?”

— Был инженером. Сейчас пленный.

— А почему вы стали переводчиком?

— Думаю, инженер был бы им полезнее, а потому предпочитаю меньшее из зол.

Они говорили отрывочными фразами вполголоса и это придавало их странной беседе доверительный характер. Ей казалось, что с этим мелово-бледным чело-

веком она уже давно знакома и они расспрашивали друг друга без всякой боязни, надеясь найти общих друзей, знакомых, чтобы вновь сродниться с той жизнью, которая сочилась в каких-нибудь десяти километрах от них, по ту сторону фронта.

Он готовился к встрече с другой, боялся и желал этой встречи и, пожалуй, больше боялся. А теперь ему казалось, что он ничего не боялся, а только желал...

Однако, слабость давала себя знать.

— Какой вы бледный. — Заметила она и поднесла к его лицу обломок исцарапанного зеркала. В нем он увидел глубоко запавшие угольки глаз на узком — вершиной книзу — белом треугольнике лица и почувствовал вдруг себя утомленным и разбитым. Лоб покрылся мелкими капельками холодного пота. Если б она не взяла у него зеркала, оно бы выпало из его ослабевших рук на пол.

— Я пойду. — Глухо промолвил он и, сиюсь улыбнуться, добавил: “Прощайте.”

И с тех пор он ее не видел. Он не помнил, как вышел из комнаты, кто подхватил его под руки, как принесли его опять в больничный барак.

Он приоткрыл глаза лишь когда его неловко опустили на жесткие нары, так, что голова стукнулась о дощатую стенку, и вокруг зашептались, заговорили... О чем? Из-за чего? Он не мог разобрать.

Нечто холодное, твердое сжало голову так сильно, что он невольно открыл рот, чтобы закричать, но не закричал. Дыхание перехватило и в тоскливом выражении его полуоткрытых глаз запечатлелся навсегда зеленоватый отблеск торжествующего взгляда той, которая встала у его изголовья...

*В честь моего незапятнанного прошлого.
(Надпись, сделанная в 1951 году)*

БЕЗДНА

Когда отгремели аплодисменты, он еще раз попытался проанализировать свои чувства. Он не пришел, как эти, другие, на творческую встречу с известной актрисой и его не так интересовал ее, так называемый, творческий облик, как она сама, женщина, некогда ему близкая, очень близкая.

Он не видел ее много лет, так как по независящим от него причинам не мог выехать из этого захолустья, где и до сих пор не имел ни своего угла, ни своей семьи. Но тернии пройденных путей не коснулись его души, души артиста, защищенной от покушений суетных материальных интересов любовью к ней. Она была его идеалом на протяжении четверти века и разлука сгладила в его представлении те шероховатости, которые так часто прорывались наружу раньше, во время их совместной жизни. Он привык ее видеть такой, какой она была двадцать пять лет назад, молодой и любящей, и во время этого концерта, глядя на ее уже немолодое лицо, он мучительно пытался восстановить из ее облика прежнюю, близкую, не умиравшую в памяти.

Она уверенно держалась на сцене, стихи, прозу, монологи читала профессионально грамотно, очень разумно. Зрители бурно ее приветствовали.

Она слегка наклоняла голову и мило улыбалась. Такой улыбки он у нее прежде не замечал, но знал, что это улыбка искусственная, выученная, возможно, перед зеркалом. Эта улыбка ничего не выражает; ею жен-

щина может одарить любого встречного и тот поймет, что улыбка ничего не обещает, а только подчеркивает снисходительную неприступность незнакомой женщины, не много в жизни видевшей и удовлетворяющейся этой жизнью, как пестрая гибкая ящерица удовлетворяется своим сырым лесом.

Она перевоплощалась на сцене... Вот она страстно, безумно (так кажется зрителям) шепчет слова Катерины, героини “Грозы”.

А он не заражен ее страстью; он не может проникнуться ее исполнительским темпераментом, его восприятие двоится: перед ним неотступно стоит она, прежняя, и эта прежняя постепенно начинает незаметно уступать место стоящей на сценических подмостках, и любовь к той переходит на эту. Он уже примиряется с тем образом, который видит перед собой, он любит и эту; слишком долго он не видел ее, в разлуке с ней не знал и не пытался узнать других и ради старой любви теперь не замечает ее искусно сглаженных морщинок у глаз и на лбу. Он понимает, что она уже не та, прежняя, но не хочет верить в другую и убеждает себя мучительно и упрямо, что это только маска, что душа у нее та же, отзывчивая и простая, нетронутая гибельным влиянием поверхностной культуры театральной среды.

“Вспомнить бы мне, что он говорил-то?..” - Врывались в его растерянное сознание слова со сцены. “Жизнь моя, душа моя, люблю тебя! откликнись!”...

— Нет, это игра! — Ухо артиста не изменило ему. Эффектно подано, но не прочувствовано до глубины души.

Он невольно поморщился, зрители шумно аплодировали.

Она выходила, кланялась, улыбалась, легко и непринужденно, так как привыкла к этим стандартным формам человеческого восторга.

— Какова? Вот это артистка! — Толкнул его локтем сосед, поднимаясь с места. — Так душу и рвет. Вдохновение! — И, не дожидаясь ответа, сосед поспешил в гардероб, откуда уже слышались мужские голоса, выкрики — номеров и женское повизгивание.

Арсений медленно поднялся с места. В гардероб спешить не стоило: на его старое пальто никто не польстится. Он хотел пройти за кулисы и поговорить с ней. Его так охватило это, годами взлелеянное желание, что он даже не подумал о цели посещения, о невозможности говорить через двадцать пять лет о том, о чем можно говорить через год или два разлуки.

Легкая нервная дрожь охватила его, когда, открыв последнюю дверь из фойе партера, он шагнул в пыльную полутьму левого кармана сцены.

Он сделал еще несколько неуверенных шагов и очутился возле какой-то железной лесенки. Здесь он задержался.

До сих пор он действовал механически, сейчас впервые задал себе вопрос: зачем он идет? И, как это с ним часто случалось и раньше, не только не сумел, но и не захотел отвечать самому себе на это и пошел дальше.

Он, как зверь, носом жадно втянул в себя пропитанный запахом клея и красок пыльный воздух кулис; отмахнулся от было нахлынувших воспоминаний и, быстро пройдя мимо встречного старика, должно быть, рабочего сцены, нарочито уверенно проследовал в нижнее актерское фойе.

— Скажите, пожалуйста, где я могу видеть Н.? —

Спросил он у выходявшего из артистической уборной пожилого человека, в котором сразу признал одного из ведущих актеров местного театра.

Актер подчеркнуто внимательно всмотрелся в его напряженное лицо и, мягко скользнув взглядом по очень изношенному костюму, произнес: “Она только что прошла к себе, вот в эту дверь. А вам, собственно, что?..”

— Я к ней по экстренному делу. — С этими словами Арсений быстро зашагал в конец коридора и постучал в указанную справа дверь.

Актер скроил вслед ему презрительную гримасу, выпятив нижнюю губу (это было его штампованным выражением презрения) и закурил папиросу.

Только здесь, у двери, Арсений понял, что он сжег корабли, что отступления ему быть не может: он должен ее увидеть.

— Войдите!

Арсений считал, что от старой любви лучше всего излечит свидание после долгой разлуки. Ведь он шел к совсем другой. Увидев ее теперь не в привычном образе, измененную годами, он поймет, что этот новый образ далек от его прежнего, знакомого идеала и он разочаруется в своей прежней долгой страсти. Так бывало с ним раньше, до того, как он узнал ее.

— Войдите!

Он был так занят потоками вдруг нахлынувших мыслей, что пропустил мимо ушей приглашение. Это был ее голос.

Как бы он хотел застать ее одну!.. Сдерживая нервную дрожь, он потянул за дверную ручку. Яркий свет ударил в глаза.

Арсений опять раскаялся в своей ненужной торопливости: зачем понадобилось ему непременно сейчас, сразу после концерта, пробиваться к ней? Не лучше ли было сперва узнать, где она остановилась, договориться по телефону и уже затем поговорить наедине. А теперь...

Ее окружали мужчины и женщины, молодые и пожилые, и говорить с ней при них было безумием. Но он все-таки решился.

Поздоровавшись, и чувствуя на себе удивленные взгляды присутствующих, он приблизился к ней.

— Извините, пожалуйста, — сказал он, улыбнувшись, чтобы скрыть смущение, очень мягко и искренно, — я — к вам. — И он назвал ее по имени и отчеству (когда-то они были только на ты). Теперь улыбнулась она (какой-то сумасшедший поклонник): “Ко мне?”

— Простите. — Он собрался с духом. — Мне очень нужно поговорить с вами *entre quatre yeux* (буквально — между четырьмя глазами, с глазу на глаз). Он специально не по-русски сказал “наедине”, чтобы показать окружающим щеголям, что хотя и неважно одетый, он все-таки является каким-то осколком интеллигенции.

— Видите ли, — возразила она все с той же улыбкой, — у меня нет секретов от моих друзей. — Она обвела взглядом присутствующих. — Говорите смело.

Но разве он мог сказать? Внутри него все существо кричало; он понимал, что она не узнает его и поэтому на мгновение постарался забыть о присутствующих и пристально посмотрел на нее. Он вложил в этот взгляд вопрос: неужели ты не узнаешь меня? Всю сознательную силу своего душевного магнетизма он вложил в этот взгляд, в этот немой вопрос.

Она поджала губы и кончиками пальцев забарабанила по ручке стоявшего рядом старого кресла. Тут только Арсений заметил, что она смотрела не в глаза ему, а поверх морщинистого лба на седеющие, но еще густые вьющиеся волосы. Он понял: она узнала.

И опять улыбка. Она просит извинения у присутствующих, с ней хотят поговорить с глазу на глаз. Три минуты — не больше. — Досадливый взгляд в сторону глубоко вздохнувшего Арсения. И, кивнув плотному пожилому блондину, немедленно поднимающемуся с кресла, она в его сопровождении вышла в фойе, взяв за локоть сгоравшего от стыда за бестактность Арсения.

— Я вас слушаю.

За дверью раздался смех: кто-то копировал Арсения. Она поморщилась. Он молчал.

— Что вы хотели сказать? — Женское любопытство росло. Спутник ее отошел в другой конец фойе, сел на диванчик и завязал разговор с актером, указавшим Арсению гримуборную Н.

Она села на пододвинутый Арсением стул и посмотрела на него.

— Что вы хотели мне сказать? — Она сделала ударение на “мне”.

— Я хотел спросить вас, — тихо, почти шепотом вырвалось из его еле разомкнувшихся губ, — вы меня узнаете? Он так хотел сказать ей “ты”, но все же сказал “вы” и сразу почувствовал, что между ними легла черная пропасть времени, поглотившая все намеки на прежнюю близость.

Она посмотрела на него очень серьезно. Сдержанная человеческая горькая улыбка коснулась чуть опущенных уголков ее губ: “Мне кажется, я вас узнаю. —

Опять проверяющий пристальный взгляд. — Мне кажется, вы были когда-то... — Тут она посмотрела в сторону плотного блондина, мирно беседовавшего в конце фойе, и не докончила фразу.

Арсений выждал паузу, так как заметил, что она уже без особого интереса разглядывала его с головы до ног и при этом о чем-то сосредоточенно думала, видимо, решая вопрос тактики по отношению к нему.

Чтобы положить конец неловкому молчанию, он хотел сказать о только что закончившемся концерте, но вдруг неожиданно для себя выщедил: “Короткая же у тебя память”.

Она быстро поднялась со стула, но тут же села. Он сделал шаг к ней: “Не хочешь узнать?”

Ей стало ясно, что комедию незнания больше разыгрывать нельзя, и она только немного наклонила голову и понимающе взглянула на него. И он прочитал в этом взгляде... сострадание, жалость: она увидела его не таким, как прежде, а другим, очень изменившимся...

Она вздохнула и при этом ей ударил в нос слабый аромат дешевого одеколона.

— Боже мой, до чего он опустился!?! — Мелькнуло в ее голове и она с трудом подавила брезгливую гримасу, скрыв ее под маской серьезной внимательности.

Из комнаты, откуда они только что вышли, опять раздался взрыв смеха.

Она нетерпеливо подняла глаза: “Вы бросили театр?” Она задела самую большую струну. Что он мог сказать? Он два с половиной десятилетия мечтал об этой встрече, о разговоре с ней; представлял себе эту встречу в мечтах своих, мысленно разговаривал с ней,

радовал себя и жил мечтою, и хотя понимал, что при действительном свидании им говорить будет не о чем и все будет совсем не так, как он хочет себе внушить, но только теперь осознал всю нелепость своего положения, и уже не воспоминания о прошлом далеком обрывке счастья, а вся горечь пережитого за время разлуки из-за нее, из-за его любви к ней, весь ледяной, грязный и унижительный кошмар ненужно прожитой маленькой человеческой жизни хаотически встал перед его расширившимися глазами и сдавил горло. Он открыл рот, хотел что-то сказать, но почувствовал, что сейчас не выдержит и истерически заплачет. Он молча стиснул зубы и высоко поднял голову. Он боялся произнести слово, чтобы не разрыдаться.

А она, уже полностью овладев собой, смотрела на него изучающе, мягко улыбаясь этой проклятой выученной улыбкой.

— А это мой муж. — С той же улыбкой произнесла она, легким движением головы указывая на сидевшего по-прежнему в противоположном конце артистического фойе пожилого блондина.

— Догадываюсь. — Он, кажется, начинал овладевать собой. — Который по счету?

— Четвертый, не считая тебя. — У нее случайно вырвалось это единственное “ты” и ему на мгновение почудилось, что разделяющая их пропасть сузилась. Но это было только мгновение. И в это мгновение они оба улыбнулись, как бы стоя у противоположных краев бездонной пропасти времени, их разделившей.

И пропасть снова расширилась. Они поняли, что им говорить не о чем. В искусстве, которое их свело, они разошлись путями. Жизнь отняла у него профессию и

оставила душу, а у нее жизнь отняла душу, оставив только профессию.

И они молчали, такие далекие, что казалась невероятной даже возможность их прошлой близости, и они сами удивлялись: как они могли когда-либо понимать друг друга.

Оба чувствовали себя неловко и стесненно. Ему хотелось сказать многое, накопленное годами одинокой безисповедной жизни, а ей хотелось поскорее уйти от этого бесполезного ненужного воспоминания о далеком прошлом. Дверь гримуборной отворилась и оттуда выглянула лисья мордочка актрисы местного театра: “Ах, простите, мы думали, что вы уже...” — И она с улыбкой опять исчезла за неплотно прикрытой дверью.

Н. поднялась со стула: “Вы должны извинить меня, но... это неудобно; вы, конечно, понимаете,.. меня ждут. Познакомьтесь с моим мужем, очень интересный, подающий большие надежды артист.”

Теперь усмехнулся он: простительно любить молодого человека, подающего надежды, но... Он посмотрел в сторону ее мужа: “Нет, нет, не надо...”

Пора, пора. Хватит: попытка, обещавшая в мечтах быть мучительно сладкой, наяву стала невыносимой. Говорить не о чем.

Она поняла его. Молча протянула руку для прощания и опять... улыбнулась. Что было делать? Губы его дрогнули в улыбке, горькой и жалкой улыбке человека, приученного к повиновению. И их улыбки беспомощно повисли над пропастью, их разделившей. У женщины не осталось ничего ни от прежней любви, ни от этой встречи.

В нем сохранилось все прошлое, облитое горечью настоящего. Он повернулся и пошел прочь.

Он слышал, как за его спиной скрипнула дверь, в которую она вышла, и оттуда опять донесся непритупленный взрыв смеха.

Он подумал: они смеются надо мной. Если бы у меня был револьвер, я бы сейчас вошел к ним и убил ее; я бы их научил смеяться! — И вдруг он сам рассмеялся вслух прерывистым нервным смехом, поражаясь своей мальчишеской глупости. Впрочем, он знал себе цену: даже имея револьвер, он бы не сделал этого.

Он остался опять один, нерешительный и жалкий, противный самому себе. И он ее все-таки любил. Любил... сильнее прежнего и это-то было самым страшным. Он хотел ее любить, потому что боялся расстаться с несбыточными мечтами, которые заставляют жить безвольного человека.

Он шел с непокрытой головой, нервно теребя в руках старую фуражку, спотыкаясь, ничего не видя перед собой, кроме ее лица, ее губ, улыбавшихся ему с другого края неумолимой пропасти.

Он постепенно успокаивался и в его расстроенном воображении уже рождались новые мечты, такие же красивые и такие же ненужные и несбыточные, как и прежние....

GLORIA

(Последний луч или Где ты была раньше?)

Чез открытые окна в комнату ворвались последние озорные лучи заходящего солнца. Они отразились в зеркальных стеклах массивных шкафов, сверкнули на позолоте книжных переплетов, рассыпались бесчисленными светлыми бликами по узорам пер-

сидского ковра на полу и зеленому плюшу широких кресел. Казалось, что комната на несколько мгновений наполнилась тихими звуками маленьких невидимых колокольчиков. Но это длилось только мгновения, испуганно заметались и пропали светлые блики и как что-то тяжелое и свистящее прополз, нарушив тишину помещения, чей-то прерывистый шепот: “Мне шестьдесят шесть лет!”

В мертвом отсвете выглянувшей луны, неизменной спутницы земли и земных романов, вспыхнули пылинками искорок матовые абажуры двух незажженных настольных ламп. В комнате снова посветлело. Черные тени шкафов властно легли траурными полотнищами поперек узоров ковра.

— Мне шестьдесят шесть лет. — Прошептал погруженный в глубокое кресло старик. Жилистая рука с длинными тонкими пальцами протянулась к письменному столу и огонек поднесенной к папиросе спички выхватил из мрака изъеденное морщинами желтоватое лицо, большие воспаленные глаза, взлохмаченные седые волосы и темный провал полуоткрытого рта, из которого тянулись бледные волокна ароматного табачного дыма.

В таинственный уют кабинета знаменитого писателя с легким ветерком неслышно вошла звездная гармония южной ночи. Он закрыл воспаленные глаза и перед его внутренним, духовным взором протянулись бесчисленными караванами картины прошлых дней его собственной бурной жизни, осененные тенью вечно юной и желанной славы, которая всегда проходила мимо него; перед ним встали герои его романов, тех, которые он уже написал, и тех, которые уже рождены

его могучим воображением и которые он написать не успеет...

Он снова тяжело вздохнул, открыл глаза и вдруг увидел, что в другом конце его просторного кабинета у черного зеркала поднятой крышки рояля стоит прекрасная молодая женщина, та, которую он никогда не описывал и которую всегда ждал и желал. Теперь она, тихая и улыбающаяся, приблизилась к нему, склонилась над его креслом и прильнула мягкими губами лукавого рта к его морщинистому лбу. Атласной рукой она пригладила его сердито взлохмаченные волосы и стала перед ним, такая же вечно молодая и прекрасная, как в далекие годы его молодости.

— Это я. — Нежно сказала она. — Я — Слава. Я знаю, как долго и упорно ты меня искал, сколько ты перенес страданий и лишений, чтобы обладать мною. И я к тебе пришла. Я — твоя. Я живу не только в восторженных глазах каждого твоего читателя, но и в богатом уюте твоего нового дома, в каждом предмете его убранства — во всем, что твое и что окружает тебя.

Она умолкла и он долгим печальным взором впился в неуязвимую красоту ее вечной молодости.

— Да, — наконец прошептал он, — ты — Слава. Я искал тебя всю жизнь, ради тебя я погубил свои лучшие годы, перетерпел миллионы страданий и лишений и ими вымостил ту узкую дорожку, по которой ты теперь пришла ко мне, не намочив своих очаровательных ножек. Слава! А где ты была раньше? Когда я искал не тебя, а лишь твоей улыбки, тени, чтобы вкусить хоть немного простого земного счастья. Где ты была тогда, когда в меня плевали, когда я дрожал от холо-

да, больной и голодный? Где ты была тогда, когда я проходил все эти земные тернии, израненный и бессильный?! — Тихо вырвалось из его груди. — Где?! — Стон беспомощно повис в воздухе. — Где ты была раньше?

Улыбка исчезла с ее прекрасного лица. Теперь, строгая и прямая, она стояла над ним, всем своим видом показывая, что никогда не оставит его и даже после смерти будет также стоять над каждой частицей того, что связано с его именем.

А он сидел в кресле, дряхлый и беспомощный, и прежде манящая красота Славы казалась ему призрачной. Тяжелые веки устало сомкнулись, голова медленно опустилась на грудь.

Ничто не нарушало ночного спокойствия его уюта. На письменном столе, встревоженные ветерком, шелестели бледные листы его последних рукописей.

В окнах между черными стрелами пирамидальных тополей и восклицательными знаками кипарисов повисли золотые блески далеких холодных звезд. А она все стояла над ним, вечно молодая, прекрасная, желанная, теперь покорная и... ненужная...

*Светлой памяти
заслуженного работника культуры РК
Маргариты Григорьевны Примы*

НЕВОЛЬНЫЕ УЛЫБКИ

(Безобидные курьезы разных лет)

* * *

Иду — и не верю:
 один,
 без охраны!..
И радость, и робость,
 и нежность во мне,
И все удивляет,
 и кажется странным,
Что номер
 не надо
 носить
 на спине.
Иду — и не верю,
 что с лагерных вышек
Зрочки автоматов
 за мной не следят,
Что я конвоиров
 не вижу,
 не слышу
Напоминание:
 “Руки назад!”
Иду — и не верю,
 что долгие годы
Жестокое неволе
 расстались со мной,

Что выжил,
 что вышел,
 дождался
 свободы?!..
А руки
 привычно
 держу за спиной...

ВТОРОЕ НАЧАЛО

(Из воспоминаний)

25 ноября 1955 года я получил паспорт и немного денег на проезд в бесплацкартном вагоне от Воркуты до Киева. Ехать туда я не собирался, но деньги были нужны до зареза. Затем начались обычные скитания. На работу нельзя было устроиться, так как отсутствовала прописка, а прописку даже в кое-как переоборудованном бараке для таких же освободившихся нельзя было получить из-за отсутствия справки с места работы. Между тем, освободили меня по амнистии со снятием судимости и поражения в правах, а также каких-либо ограничений в выборе места жительства. Но, как и другие “бывшие”, я оказался в заколдованном круге, очерченном, вероятно, кучей разных секретных инструкций. Бывало, уже согласятся принять на работу, но на следующий день отказывают: вакансии, оказывается, нет...

Наконец, меня выручили. В клубе шахты № 4 в так называемом Немецком поселке Воркуты, где жили сплошь немцы. Их сюда выслали без права выезда.

Заведующий клубом шахты Рамих (уже не помню

его имени), когда я предложил свои услуги в качестве руководителя драматического кружка, внимательно оглядел меня с ног до головы. А когда я ему рассказал свою историю, искренне удивился. Мы попытались говорить по-немецки. Но тут он оказался значительно слабее меня. Он был из Поволжья. Тем не менее, мы расстались по-дружески. Он предложил зайти через два дня. В назначенный день я пришел и мы подписали трудовое соглашение о том, что я буду работать в клубе руководителем драматического кружка за месячную зарплату 400 рублей (это по курсу 1961 года соответствовало сорока рублям в месяц). Нищенская зарплата. Но зато я получил справку с места работы и смог прописаться в развалюхе-бараке.

Сразу после освобождения я поехал в город, зашел в редакцию газеты “Заполярье”, показал несколько своих стихотворений. Редактор, совершенно беловолосый близорукий альбинос Лев Викторович Метелев, принявший меня очень доброжелательно, обещал поместить стихи в газете. В мечтах я уже решил, что смогу жить на литературные гонорары...

Действительно, через несколько дней подборка моих стихов появилась в газете, что очень польстило моему самолюбию: первая!

Я принял участие вместе с главным администратором театра Григорием Марковичем Литинским в подготовке создания литературного объединения и в его первом собрании, 11 декабря 1954 года (в тот день мороз достиг отметки минус пятьдесят четыре градуса).

Вечером в редакции собрались всего несколько человек, в том числе специально приехавший из Сыктывкара коми прозаик Яков Митрофанович Рочев. На него

я смотрел с особым почтением, потому что до того настоящих писателей, можно сказать, не знал. Отличный ленинградский прозаик Федор Олесов, поэт Глеб Чайкин, писавшая прозу преподавательница Театрального института Екатерина Михайловна Шереметьева не могли считаться “настоящими”, так как являлись моими хорошими знакомыми, как и автор многих книг о подводниках Золотовский и еще некоторые. А тут — настоящий писатель!..

На собрании он ничего не сказал, только поздоровался и вежливо попрощался. Но, тем не менее, произвел впечатление. Впоследствии мы познакомились поближе. Он никогда не отличался многословием.

Метелев относился ко мне очень хорошо. Вскоре я узнал причину его расположения. До Воркуты он работал замом редактора какой-то областной газеты в Иркутске или в другом крупном сибирском городе. Дело было в войну. Как-то, дежуря по редакции, подслеповатый Лев Викторович, подписал в печать номер, где на первой полосе красовался заголовок — “Передовые идеи Гитлера” (!) Нарочно не придумаешь: наборщик спьяну, с похмелья или от усталости набрал вместо “бредовые” — “передовые”. Не знаю, что стало с наборщиком, корректором или тем, кого обвинили в антисоветской агитации, а Льва Викторовича едва не выгнали из партии. Ему пришлось поскорее покинуть место работы и город и, к счастью, ему указали на возможность работать по специальности журналиста в Воркуте, куда он поспешно уехал со всей семьей.

Здесь он подружился с бывшим зеком Литинским, до ареста работавшим в редакции “Известий” и еще каких-то центральных газет, театроведом, эрудирован-

ным журналистом и порядочнейшим человеком, страстным и бескорыстным любителем театра.

На собрании литобъединения выбрали руководителя — собкора республиканской газеты “За новый север” (ныне “Красное знамя”) журналиста Макса Семеновича Рошала. Но, отчасти ввиду занятости, а скорее из-за постоянных запоев (он за это совершил “спуск” с корреспондента “Известий”, через Сыктывкар в Воркуту), Макс Семенович больше на собраниях объединения не показывался и уже следующие месяцы мне довелось возглавлять и проводить всю общественную работу по части литературного объединения.

Но... в январе 1956 года Льва Викторовича избрали заместителем председателя горисполкома и редактором стал его заместитель. И меня перестали печатать...

Конечно, жить “с гонораров” было невозможно. За декабрь 1955 года, опубликовав семь стихотворений, три очерка и несколько статей, я получил 129 рублей. За все. Оказалось, что авторский гонорар на весь номер менее трехсот рублей. Мечты о литературном заработке канули в вечность. Единственным способом заработка остался драматический кружок. Устраиваться в театр я не пошел, потому что, честно скажу, задушливый климат центральной культбригады, в котором я выступал последние полтора года, находясь в заключении, мне настолько опротивел, что моя чистая и страстная любовь к театральному искусству пошатнулась. Чего не могли сделать годы войны, плена, тюрьмы, лагерных лишений и невзгод, то делала сама атмосфера профессионального театрального учреждения.

Между прочим, некогда я острил, что мое единственное расхождение с В.И. Лениным заключается в том,

что он велел закрыть бордели, а моя молодая мечта была попасть в бордель и “налюбоваться” там досыта. Но, попав в профессиональный театр, я сказал: “Моя мечта сбылась...” Беспорядок я не принимал во внимание, но нравственная атмосфера вполне соответствовала народному определению борделя. Знаю, что чем больше театр, тем эта атмосфера тяжелее: больше фальши, интриг и прочих гадостей.

Моя чистая любовь к искусству пошатнулась. Точнее, оставаясь верным ему, я разочаровался в его жрецах... Последующий профессиональный опыт еще больше развенчал их в моих глазах.

В январе меня почти уже не печатали, я заработал всего 125 рублей, в феврале печатать практически перестали. Как бы я хорошо ни писал, как бы газета ни нуждалась в активных и способных корреспондентах, следовало обходиться без меня и мне подобных, недавно вышедших из-за проволоки...

В начале января, в самые морозы, в Воркуту приехала героическая подруга моей покойной матери, тетя Гольда (Ольга Исааковна Ратнер). Это она восемь лет назад приехала в Александровский централ за Иркутском, где ей даже свидания со мной не дали. Тетя Гольда такая же родственница мне, как вы, дорогие читатели. Но она была лучшей подругой моей матери со студенческих лет и эту святую верность дружбе сохранила на всю жизнь. Проработав сорок пять лет в институте Склифосовского, она заработала врачебную пенсию — 256 рублей в месяц, и из этой пенсии скопила не только на поездку из Москвы в Воркуту, но и на подарок мне — наручные часы “Победа”. А тогда наручные часы считались большой роскошью и из-за обладания ими нередко убивали.

Когда тетя Гольда узнала о том, что меня не печатают, она попросила дать ей несколько моих стихотворений, фельетонов, статей, а она в Москве найдет кому их показать.

Сорок лет тому назад (я пишу эти строки в марте 1997 года) меня вдруг попросили зайти в редакцию “Заполярье”. Там в это время состав несколько обновился. В частности, заведовать отделом писем стал бывший старший лейтенант МВД, работавший в плановой части лагеря Лев Гдальевич Козинец, красивый стройный мужчина моего возраста, бывший фронтовик, с открытым добрым лицом и таким же характером. Мы познакомились и остались друзьями до самой его безвременной смерти в конце семидесятых годов.

Лев без обиняков объяснил мне причину моего вызова: пришло письмо от Льва Кассиля.

Лев Кассиль — председатель Московской писательской организации, лауреат Сталинской премии, член Правления Союза писателей СССР и заведующий в нем отделением детской литературы, любимый писатель нескольких поколений детей и юношества, автор бессмертной книги “Конduit и Швамбрания” и других замечательных произведений, прислал письмо редактору газеты “Заполярье”, в котором разбирал присланные мною через тетю Гольду в Москву стихи, очерк “10-04” (о таксисте), фельетоны и другие статьи. Кассиль, давая честную оценку моим опытам, указывал на их достоинства и недочеты, но, главное, советовал редакции всячески поддерживать “молодого способного литератора”, указывая на то, что сотрудничество с ним пойдет на пользу не только автору, но и редакции.

“Блокада” была прорвана, благодаря вмешательству Кассиля и, конечно, тети Гольды, сумевшей добраться до него. Впоследствии я с ним лично познакомился. Он очень хорошо относился ко мне. Я бережно храню не только его отдельные письма (кое-какие из них у меня взяли для Союза писателей РСФСР), но и свои стихи и поэму “О личном” с его замечаниями на полях и советами. Когда в феврале 1959 года, вскоре после первого инфаркта, я приехал в Москву и позвонил Льву Абрамовичу, он пригласил зайти к нему. С тех пор до самой его смерти мы переписывались, а каждый раз при посещении Москвы я бывал у него в Переделкино, где он, провожая на станцию, привел меня на могилу недавно умершего Пастернака.

Не знаю, чем я завоевал симпатии и право на откровенность со стороны маститого писателя, но отношение его ко мне было трогательным и, думаю, если бы не преждевременная смерть его, то и моя судьба складывалась бы лучше и с меньшими трудностями по литературной части...

Вторым браком после довольно неординарного развода, Лев Абрамович был женат на дочери великого русского певца Леонида Виталиевича Собина — Светлане Леонидовне, и жил в поезде МХАТ в квартире-музее Собина.

От первого брака у Кассиля было двое уже взрослых сыновей. Старший был, позднее он нас познакомил, уже, кажется, кандидатом медицинских наук, а младший только окончил школу и вот-вот должен был быть призван в армию. От Светланы Леонидовны у Кассиля была маленькая дочка, тогда ей едва исполнилось семь лет, кажется. Впоследствии ее фамилия ста-

ла Собинова-Кассиль, как память о ее замечательном отце и дедушке.

В большой прихожей старинной квартиры рядом с встречавшим меня Львом Абрамовичем стояла маленькая старушка. Она протянула мне сухонькую руку и представилась: “Собинова”. Старушка отошла, а затем опять повернулась ко мне, глянула на меня, снова протянула руку и снова представилась: “Собинова”. У нее был сильнейший склероз и она забывала все, что только что имело место. Но самое удивительное, что когда сели за стол, а в гостях были две артистки МХАТа, где в школе-студии преподавала Светлана Леонидовна, старушка разошлась; стала вспоминать прошлое, встречу с императрицей, причем в тонкостях описывала подробности и, что присуще женщине, мельчайшие детали туалета императрицы.

Передо мной сидела дряхлая старушка, а над столом, на стене, висел ее портрет в молодости. Красавица. Первый тенор России недаром полюбил ее.

Светлана Леонидовна, стройная, крупная, лицом очень походила на покойного отца и, несмотря на то, что была на восемнадцать лет моложе Льва Абрамовича (в 1959 году ей было тридцать шесть лет, а ему шел пятьдесят четвертый), рядом с ним, высоким сухощавым и стройным, смотрелась очень хорошо. Это была красивая, видная женщина.

После обеда Лев Абрамович пригласил в свой кабинетик. Я не случайно так называю маленькую комнату, уставленную книгами, где рядом с письменным столом стояла статуя его кумира Маяковского, а на полочках книжного шкафа перед старинным изданием Вольтера на французском языке стояли сувенирные фи-

гурки английских гвардейцев в меховых высоких шапках, точно как перед королевским дворцом в Лондоне.

Я откровенно рассказывал Льву Абрамовичу о своих злоключениях. Он тяжело вздохнул и заметил, что его брата, Осю, одного из главных героев “Кондуита и Швамбрании”, в тридцать седьмом году арестовали. Брат был очень слаб здоровьем и умер вскорости после ареста, не вынеся лишений. Посмертно его реабилитировали.

В связи с этим Кассиль припомнил анекдотическую историю.

К тридцать седьмому году создатель “Кондуита и Швамбрании”, сценарист фильма “Вратарь” и постоянный автор фельетонов “Правды” и “Известий” — Лев Кассиль — был уже широко известен в стране. Тем не менее, когда его брата арестовали, газеты сразу же перестали печатать Льва Абрамовича. Он приносил материалы, их клали в стол — и все. Сколько времени так продолжалось — трудно сказать. Естественно, что и сам Лев Абрамович не мог оставаться спокойным. Все, что он писал, клали “под сукно”...

Вдруг в квартире раздался телефонный звонок. Говорил редактор “Правды”: “Лев Абрамович, что это вы так долго не заходите? Мы ждем от вас материалы...”

— Так они же у вас лежат.

— Заходите, заходите.

Как затем рассказали Льву Абрамовичу, дело обстояло так: едва арестовали Осю, как Льва Абрамовича, брата “врага народа”, перестали печатать. Между тем, Сталин имел обыкновение лично просматривать центральные газеты и вот как-то, проглядывая очередной

номер, он спросил: “А что это я давно не вижу ничего Кассиля? Почему он не пишет?”

— Иосиф Виссарионович, у него арестован брат.

— Ну так что же?

В результате этого “ну так что же?” и раздался звонок к Кассилю. Не исключая, что история с братом имела влияние и на отношение Льва Абрамовича ко мне. Он знал, что я не реабилитирован (меня реабилитировали только летом 1966) и все же оказывал мне помощь, заказывая материалы для редактируемых им сборников “Читай-город”, “Кругоскоп” и других.

Не могу без волнения вспоминать доброе отношение ко мне, только что вышедшему из-за проволоки, начинающему жизнь с начала, со стороны редакции воркутинской газеты “Заполярье”. От редактора, сменившего Метелева, добрейшего человека, в прошлом фронтовика Михаила Владимировича Вокуева до всех сотрудников — Льва Козинца, Нины Степановны Котовой, Эльги Караевой и работниц типографии. Вскоре мне предложили должность корректора. Я стал ее совмещать с продолжением работы уже художественным руководителем клуба шахты № 4. Вместе со мною работали корректорами Клавдия Гусева, бешено курившая, как и я в то время, а также Наташа Уварова, красивая молодая женщина, вышедшая замуж за немца, такого же, как я, бывшего каторжника. До того ее подруга, ответственный секретарь редакции, также вышла замуж за “бывшего”. Ее уволили и исключили из партии.

Увы, корректором пришлось работать недолго: горком партии строго указал редактору Егору Николаевичу Терентьеву на недопустимость подобного. Тогда

я еще некоторое время поработал в клубе, а затем перешел в театр кукол. Однако, связей с редакцией я не порывал. Со всеми ее людьми я подружился по-настоящему и мы остались верными друг другу на всю оставшуюся жизнь. Никогда мне не забыть их доброго отношения ко мне, бесправному.

Конечно, я тоже старался отплатить редакции добром. “Шахтерские крокодилы” и “литературные” страницы, фельетоны, очерки, стихи — все это помогло укрепить авторитет газеты. Когда я начал с ней сотрудничать, ее тираж еле превышал четыре тысячи. Через полгода, после выхода первых “Шахтерских крокодилов”, охватывавших самые различные стороны жизни Воркуты, тираж газеты достиг двадцати тысяч и не мог удовлетворить всех желающих подписаться. Простите, что на старости лет горжусь этим.

Чтобы “не дразнить гусей”, я подписывал свои материалы разными псевдонимами, в том числе женскими. Меня это даже забавляло, а газете было на руку, что у нее так много рабкоров. Число моих псевдонимов перевалило за пятьдесят. Но основным я сделал — Александр Клейн. Имя, спасшее мне жизнь в немецком плену, соединилось со мной навечно.

МЫ ВОВСЕ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

В начале лета 1964 года делегатом международного конгресса УНИМА и Всесоюзной конференции “Театр в жизни ребенка” я приехал в Ленинград. Более двадцати трех лет я не навещал город моей артистической юности, счастливейшей поры всей жиз-

ни — учебы на актерском факультете Театрального института. Когда, выйдя из троллейбуса, я завернул на знакомую Моховую улицу, я весь трепетал, не шел, а бежал к институту, и слезы текли ручьями по моим щекам.

Но вот дом 34, знакомый подъезд — и я в вестибюле. И сразу встреча! — Мои любимые профессора Елена Львовна и Лидия Аркадьевна, а рядом с ними мне ласково улыбается седая женщина. Кто это? Не узнаю. Подсказывают. Боже мой! Лариса Дачко! Училась в одно время со мной ведущая актриса Александринского театра, а ныне преподаватель актерского мастерства. Мы все обнимаемся, целуемся и плачем. О чем? Почему? Отчего?...Разве все объяснишь?

Окруженный друзьями, иду по Невскому и вдруг: “Привет поэту и драматургу!” — Министр культуры Коми АССР Александр Вячеславович Терентьев, жизнерадостный, благожелательный, полный юмора. Рядом с министром мой добрый знакомый, композитор Яков Сергеевич Перепелица и балетмейстер Григорий Ваховский.

— Какими судьбами?!

— Разве не знаешь? Мы здесь на гастролях. Выступаем в ДК Первой пятилетки.

— Декабристов, 34. — Подхватываю я. — Возле Марининского оперного. Еще студентом участвовал в спектаклях Ленинградского театра драмы и комедии на сцене этого ДК.

— Вот видишь! Все знакомое. Приходи. Завтра балет “Яг-морт”.

— Александр Вячеславович, у меня здесь много друзей. Можно я человек семь-восемь проведу с собой на “Яг-Морта”?

— О чем речь! Пропустим и двадцать и тридцать. Зал большой, на две тысячи мест.

Мне хочется познакомить моих друзей с коми искусством и заодно услышать их честное мнение. Не секрет, что после более чем двадцати лет отрыва от столичной театральной жизни я чувствую себя по сравнению с моими ленинградскими друзьями отсталым и очень хочу сравнить их впечатления со своими.

Приглашаю известных режиссеров Владимира Иогельсона, Елизавету Раугул, художников: старика Александра Викторовича Рыкова и Лаймонса Рониса, еще двух-трех артистов, учившихся со мной и тогда уже известных театроведов, моих однокашников, и, конечно, звоню Миле Ефимовой, однокурснице, одареннейшей актрисе, оставившей сцену и являющейся “большой шишкой” — заведующей режиссерским управлением Ленинградского телевидения. Мила — чудесный товарищ, но, в отличие от меня, рассудительная и не скоропалительная в поступках и оценках.

— Послушай, — Говорит она в трубку. — Я-то и так пройду по своему удостоверению. Но мы же не виделись двадцать три года (!). Как мы узнаем друг друга?

Эхма, а мне ведь такое в голову не пришло.

— У меня в руке будет черный портфель. — Говорю я.

— А у меня — красная сумка. Договорились.

Встречаю приглашенных у входа в ДК. Не зеваю. Всматриваюсь во всех входящих. Знакомлю старых и новых друзей. А глазами все ищу Милу.

Уже все приглашенные сидят в зале на выделенных местах, а я все торчу у входа, внимательно вглядыва-

ясь в каждого проходящего. Милки нет. Первый звонок. Второй. Третий... Сломя голову, мчусь в зал. Сажусь.

В зале много зрителей. Среди них человек тридцать иностранцев, большая польская делегация. Время от времени посматриваю на них, на друзей-соседей. Замечаю: балет нравится. Предупрежу: после спектакля авторитетные друзья дали очень высокую оценку “Яг-Морту”, его музыке, подчеркнув ее дансантизм (танцевальность) и мелодичность, постановке и артистам, особенно великолепной исполнительнице партии Райды, хрупкой на вид прима-балерине Оле Коханчук.

Аплодисменты. Закончился первый акт. Ясно: Мила не пришла. Поднимаюсь с кресла и, глянув по сторонам, кажется, ловлю на себе чей-то взгляд. Бывает же такое. Оборачиваюсь: сидящая рядов на пять впереди огненно рыжая женщина (тогда были в моде рыжие волосы), обернувшись назад, равнодушно отворачивается. Я на мгновение вижу ее профиль. Греческий профиль!

— Милка! — Гаркнул я “во все воронье горло”.

Рыжая быстро обернулась, оживилась и двинулась к проходу между рядами кресел.

Выскочил и я. Глянул на неё: красная сумка.

Женщина быстро скользнула взглядом по мне: черный портфель.

Мы бросились друг к другу, расцеловались, что-то радостно затараторили. Через минуту мы уже находили, что оба вовсе не изменились ни в чем.

А если бы не сумка и портфель?..

ЕЩЕ ОДИН ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Ближний Восток всегда славился своими неурядицами. То какой-нибудь карманный воришка, прославленный голливудскими фильмами, забирался на багдадский престол, то правил выживший из ума султан, то монстр-диктатор, с которым может дружить лишь небрезгливый министр иностранных дел северной державы, то еще кто-либо из того же списка... И все время в этом регионе заговоры, интриги, драка за власть. Не верите? Почитайте внимательно сказки “Тысячи и одной ночи” и узнаете, что на тронах там побывали даже уличные шарлатаны, колдуны, спекулянты, что полным-полно было дворцовых переворотов и не хватало только того, который около сорока лет тому назад совершил я, будучи актером Государственного Воркутинского театра кукол.

Произошло это при следующих обстоятельствах. Играли мы замечательный спектакль “Волшебная лампа Аладдина”.

Чтобы сделать пьесу по силам маленькому коллективу, ее пришлось где-то чуть подсократить, где-то даже изменить порядок сцен. По одной кукле имели лишь исполнители ролей царевны Будур, Везиря и Аладдина, участвовавшие во всех сценах. А так как кукол было в спектакле более двадцати, то остальные актеры играли по несколько ролей. Шесть из них играл я, в том числе одну — великана джинна Кашкаша в живом плане, то есть как актер драматический, а остальные с куклами. Каждые четыре-пять минут приходилось буквально на ходу хватать новую куклу, а са-

мому мгновенно всем существом своим переключаться на другую роль, “влезать в кожу” нового персонажа.

Скажу, что несмотря на режиссерские купюры, пьеса, написанная по мотивам прекрасной сказки “Тысячи и одной ночи”, так увлекала нас самих, что мы не чувствовали усталости. А зрители! А дети! Они, не отрываясь смотрели на ширму, переживая за красавицу Будур и смелого Аладдина, возмущаясь злым Везирем, смеясь над глупым Султаном.

Среди прочих у меня выделялись большие роли диаметрально противоположного характера — хитрого Гадателя и тупого Султана, отца Будур. Особенно напряженным являлся, возникший в результате перестановки сцен, момент молниеносного перехода от картины на авансцене перед занавесом, “в темнице”, где Везирь грозил казнить Гадателя, к картине во дворце, где сидящий на троне Султан принимает Везиря.

Когда разгневанный Везирь, уходя из темницы, крикнул Гадателю: “Я велю казнить тебя страшной казнью”, последний падал в отчаянии на грядку (верхний передний край ширмы) с воплем “О горе мне, горе!” В то же мгновение вырубался свет и раздвигался занавес, открывая ярко освещенные дворцовые покои с сидящим на троне Султаном.

Чтобы успеть сменить куклу, я одновременно с воплем быстро опускал руку с Гадателем. Его хватал помереж и поспешно совал мне в руку куклу Султана. Я поднимал ее, сажая “на трон”, и начинал диалог с Везирем.

И вот как-то после отчаянного “О горе мне, горе!” я уже внутренне в образе Султана произнес привычную

реплику, но ответа не получил. Замечу, что спектакль мы сыграли уже раз сто, если не больше, и так уверенно владели куклами, что твердо зная все мизансцены, порой не поднимали глаз на свои куклы, а только держа их над головой, смотрели на куклы в руках партнеров.

Итак, моя кукла с высоты трона оглядела придворных и снова добродушно уставилась на куклу Везиря: “Так что же ты молчишь, Везирь?”

Но тот опять не ответил. Тогда я уже недовольным тоном повторил вопрос и из-под “трона” посмотрел на исполнителя роли Везиря. Актер этот из-за высокого роста вынужден был постоянно втягивать голову в плечи, чтобы она не показывалась над ширмой, и двигался на согнутых ногах. Сейчас он, как всегда, сгорбившись в три погибели, гордо держал стройную фигуру куклы Везиря над головой, а сам, страшно вращая глазами, глядел на меня.

Встретив его взгляд, я невозмутимо добавил к роли текст от себя и произнес: “Что же ты так долго молчишь, великий Везирь, и почему так странно смотришь на меня?”

Тут сзади меня толкнули так, что “трон” зашатался и я увидел, как актер с куклой Везиря, подергивая головой, указывает мне наверх.

Я поднял глаза — и все понял: свершился дворцовый переворот. Вместо владыки Султана на троне восседал осужденный на смерть нищий Гадатель: помреж зазевался, а я сгоряча не заметил и не успел переменить куклу.

Пришлось на секунду закрыть занавес, потом открыть и маленькие зрители долго недоумевали, каким

же образом несчастный Гадатель ухитрился из темницы взойти на трон Султана, а тот, в свою очередь, так быстро, без боя сумел снова вернуться к власти?..

Ведь не объяснишь детишкам, что на Ближнем Востоке дворцовые перевороты случаются очень часто...

СЕРЕНАДА ХАНОВЕЯ

У каждого человека, даже самого скромного, есть тщеславие. У одного его больше, у другого меньше. Особенно развито это чувство у людей, связанных с искусством. Я — не исключение. Приятно сознавать, что плоды твоих раздумий, волнений и воображения находят отклик у читателей или зрителей, пусть даже самых маленьких. Поэтому неудивительно, что на спектакль по моей пьесе-сказке “Камень жизни” (по мотивам коми фольклора), поставленной Воркутинским драматическим театром, когда он приехал в Сыктывкар, я пришел задолго до начала. К тому времени эту сказку успели сыграть сыктывкарцы и она уже несколько лет с успехом шла в Москве.

Гастроли воркутинцев открылись в просторном помещении Республиканского музыкального театра.

Заглянув за кулисы, я сразу встретил коллег-артистов; с некоторыми из них сравнительно недавно я вместе находился за колючей проволокой.

Объятия, поцелуи, воспоминания, известия об общих знакомых.

Незаметно пробежало около получаса. Близилось время первого звонка. Я уже собирался пройти в зал, когда за сценой ощутилось непредвиденное беспокой-

ство. Отсутствовал молодой исполнитель одной из ведущих ролей — Хановея, проказливого северного ветра. А спектакль как раз начинался сценой разгула этого буйного героя.

Мой друг — директор Воркутинского театра Владимир Васильевич Цымбал — метался за кулисами в поисках замены. Администраторы звонили во все концы. Все напрасно, главный режиссер, постановщик спектакля, отсутствовал — (встретил в городе старых приятелей...) Замены Хановею не было.

— Саша! — бросился директор ко мне. — Твоя пьеса. Выручай! Ты же артист!

Конечно, я бы предпочел посмотреть свое творение из зала. Но...надо было спасти положение. В душе я надеялся, что на второй спектакль исполнитель наверняка придет, и я все-таки увижу свою сказку со стороны.

Выяснилось, что вчера после вечернего спектакля “Хановой” (будем его называть так) выходил из театра. А потом?.. Как в воду канул.

Третий звонок. Зал, битком набитый ребятей, галдел; топали ногами, хлопали в ладоши, даже, мне показалось, свистели.

— Давай, Саша! — Подбадривала меня Наташа Карпова, исполнительница роли лесной колдуньи Бабы-Йомы.

— Все будем помогать, — Уверял Цымбал (знаю я эту “всеобщую помощь”). — Давай!

— Ладно. Попробую.

К счастью, обувь, костюм и косматый парик основного исполнителя оказались мне впору. Наскоро загримировавшись, я стал в кулисе возле Наташи.

Занавес раздвинулся. Звуки музыки перешли в вой и свист северного ветра.

Чуть пониже поясницы я почувствовал толчок — пора! — и выскочил на сцену.

Не буду описывать свою игру. Замечу, что роль я знал и именно поэтому мне приходилось нелегко. Дело в том, что готовя спектакль для детей да еще “своего автора”, а пророка в своем отечестве нет, режиссер и исполнители весьма вольно обращались с текстом: где-то добавляли — и довольно неуместно, — где-то что-то меняли местами, сокращали, а что-то вообще упускали. В общем, “редактировали”... В Москве с моим текстом обращались куда бережнее: там я не был “своим”. А тут...

Но, несмотря на трудности, я, кажется, с честью вышел из положения и благополучно отыграл спектакль.

Придя за кулисы, я уже хотел переодеться, когда Цымбал заглянул в гримуборную: “Молодец, Саша! Сейчас будешь играть второй спектакль” (он начинался через час после первого).

— Ты что?!...

— Нет Хановея. Кроме тебя играть некому.

— Да где же он?

— А я почему знаю. Ищут.

На этот раз игралось легче. После спектакля положение стало постепенно проясняться. Узнали, что исполнитель роли Хановея жив. Но повидать его пока не удалось. Нельзя. Что же случилось?

Предыдущим вечером, после торжественного открытия гастролей, артист в хорошем настроении отправился бродить по городу. В мае в Сыктывкаре чудесные белые ночи и, если погода позволяет, молодежь гуляет

до утра. Особенно чувствуют прелесть сыктывкарской весны и запах цветущей черемухи жители сурового Заполярья, оказавшиеся в это время в здешних местах. И “Хановой”, немного выпив, отправился осматривать город. Зашел в парк и там познакомился с симпатичной девушкой. Вызвался ее проводить. Она жила поблизости.

“Хановой” уже предвкушал удовольствие от более близкого знакомства, но девушка, завернув за угол дома, вдруг исчезла в ближайшем подьезде.

— Неужели не выйдет, — подумал “Хановой”. У него был хороший бархатистый голос. Актер знал, как чарующе действует он на представительниц прекрасного пола — и запел.

Было уже далеко за полночь, когда во дворе под окнами большого дома в центре города раскатились звуки серенады.

Акустика во дворе оказалась хорошая. Это вдохновило певца и он запел во весь голос.

Девушка не появлялась и артист затянул вторую песню. После короткой паузы он, уже настойчиво, запел знаменитую серенаду Дон-Жуана. Но не успел закончить первый раз припев:

“О выйди, Нисета,

Ко мне на балкон”, — как возле него резко затормозила милицейская машина.

В доме, под окнами которого пел наш герой, жил большой любитель порядка — председатель горисполкома, человек строгий, решительный, далекий от чувства юмора и искусства.

Разбуженный нашим Дон-Жуаном, мэр вызвал милицию. Ночного солиста, хотя он не был в “большом

подпитии”, отправили в медвытрезвитель и тотчас по предложению мэра определили наказание — десять суток!

Немало пришлось директору похлопотать, чтобы умиловить разгневанного хозяина города. А пока продолжались переговоры о сокращении, “в связи с производственной необходимостью” срока наказания нарушителю, Хановея играл я.

Так и не удалось мне в качестве зрителя посмотреть на сцене этого театра свою сказку.

ЛЕНИН И КИСКА

К пятидесятой годовщине Великого Октября наш Коми республиканский драматический театр поставил пьесу А.Штейна “Между ливнями”. В ней в одной сцене появлялся В.И.Ленин. Страдая бессонницей, он в думах о России принимал решение о необходимости срочно вводить новую экономическую политику (НЭП). В пьесе эти раздумья вождя, составленные умелым драматургом из ленинских цитат в виде пространного монолога, занимали добрых пятнадцать минут. В течение этого времени Ленин находился на сцене один.

Даже многоопытному исполнителю роли Ленина народному артисту Ивану Ивановичу Аврамову требовалось мобилизовать все свои творческие силы, чтобы так долго приковывать внимание зала к себе.

Никаких эффектов. Никаких партнеров. Аврамов-Ленин один. Ходит по комнате. Останавливается у окна. Садится к столу. Думает. Говорит.

Понятно, что Иван Иванович всякий раз тщательнейшим образом готовился к этой сцене. Да и другие исполнители исключительно ответственно подходили к своему участию в юбилейном спектакле.

Случай, о котором я рассказываю, произошел на пятом или шестом представлении “Между ливнями”.

Когда наступил черед ленинской сцены, раздвинулся занавес и публика аплодисментами встретила загромированного под Ленина актера.

В напряженной тишине он начал свой длинный ответственный монолог. Зрители затаили дыхание. Так прошли минута, другая, третья. И вдруг по залу будто прошелестел какой-то шепоток. Люди перестали следить за ходом мыслей вождя, отвлеклись и уже смотрели не на него, а куда-то ему под ноги и немного в сторону. Дело в том, что из-за кулис на сцену, не обращая внимания ни на Ленина, ни на публику, неторопливо вышла обыкновенная серобелая кошка и спокойно направилась вдоль ramпы (переднего края сцены) к ее середине, уселась мордочкой к залу, спиной к Ленину перед его столом, мило зевнула, показав всем разинутый розовый ротик, и стала оглядывать зрителей.

По залу пробежал сдавленный смешок. Кто-то закашлялся. Артист, героически делая вид, что ничего не замечает, продолжал свой монолог. Но овладеть вниманием публики уже был не в силах: все следили только за киской. А она, оглядевшись, стала преспокойно умываться. Ленин говорил, а она все умывалась и умывалась.

Из-за кулис донеслось шепотом “кис-кис-кис”: актеры пытались выручить товарища. Кошка, услышав зов, повернула голову к правой кулисе, но в это время

из левой тоже донеслось “кис-кис”: и там коллеги пытались спасти положение. Повернув голову вправо и влево, киска предпочла не обращать ни на кого внимания и продолжала свой туалет.

Зрители уже не могли владеть собой. Их напряженное внимание нарушилось и рассеялось. Многих трясло от с трудом сдерживаемого смеха. Никто не слушал артиста. О Ленине забыли. Все смотрели не на него, а на киску, изредка поглядывая в сторону кулис, откуда все тише доносилось приглушенное безнадежное “кис-кис”...

Сколько минут так продолжалось — пять или десять — сказать трудно. Но вот из оркестровой ямы к рампе потянулся конец метлы, которой попытались отогнать кошку. Она же, видимо, решила, что с ней играют и стала лапкой легонько бить по метле. Тогда вместо метелки высунулись две мужские волосатые руки и попытались схватить хулиганку.

Она громко мяукнула и с недовольным видом проследовала через весь “ленинский кабинет” под уже несдерживаемые “кис-кис” и хохот всего зала туда, откуда пришла, в кулисы, где ее сразу кто-то подхватил. Ключевая сцена спектакля пошла насмарку. Аврамов был вне себя. Что стало с киской — не знаю.

РОСЛАЯ ВЕДЬМА

На вопрос — за что он любит театр, известный деятель сцены прошлого века ответил: “За то, что в нем каждый день случается что-нибудь неожиданное.” Впоследствии эту фразу приписывали многим

знаменитым артистам и режиссерам уже нашего века. Любой, кто по профессии связан с театром, без труда приведет десятки примеров из собственной практики, подтверждающих эту истину.

Помню, как в последнем акте мелодрамы Александра Дюма (отца) “Кин, или Гений и беспутство” исполнитель заглавной роли появился на сцене Выборгского дома культуры в Ленинграде в каком-то невероятном “шекспировском” костюме, оказавшемся вечерним платьем артистки Ирины Федоровны Шаляпиной-Бакшеевой, дочери великого певца. Дело в том, что необходимый костюм забыли в Кировском доме культуры, где играли до этого. А тут спохватились, но поздно. Подтвердить сказанное могла ныне покойная Л.Г.Улитина, бывшая артистка драматического театра в Сыктывкаре. Перед войной она, как и я, участвовала в том спектакле.

При мне же как-то на сцене прославленного Александринского театра (Академический театр драмы им. А.С.Пушкина) в Ленинграде в первом акте шекспировского “Макбета” в картине с ведьмами поторопились включить общий свет и “ведьмы”, производившие, благодаря светящемуся гриму, зловещее впечатление в темноте, вдруг предстали в современных платьях и, стуча высокими каблуками, подбирая юбки, со всех ног побежали в кулисы.

А сколько таких, на актерском языке “накладок”, остается невидимыми для зрителя?! Ведь они и перемену костюма у Кина не заметили, решили: шекспировский — и все тут. Это на столичных сценах. А на периферийных?.. Тут уж действительно, что ни день, то неожиданность — и часто не одна.

Как-то во время гастролей в довольно большом городе мы играли по утрам для детей “Василису Прекрасную”. Не скажу, чтобы пьеса, написанная по мотивам известной сказки, была хорошей. Но режиссер и исполнители сумели сгладить многие недочеты.

Я обычно играл роль Ивана-царевича, написанную таким “суконным языком”, такую бесцветно положительную, что оживить ее хоть немного стоило неимоверных трудов.

В то утро царевича играл мой дублер, а я, так как деваться в незнакомом городе было некуда, просто окопачивался за кулисами.

Переполненный зал гудел сотнями детских голосов. Но вот занавес раздвинулся и напряженная тишина повисла в зале: началось действие.

А за кулисами царила растерянность: отсутствовала актриса, которой в ответственной роли Бабы-Яги следовало начинать и фактически проводить всю большую следующую картину.

Посланные в гостиницу вернулись и сообщили, что актриса с вечера ушла к своим знакомым и еще не появлялась.

Время шло. Директор и администраторы обзвонили весь город, включая скорую помощь и милицию. След артистки простыл (позже выяснилось, что она загуляла...) Главреж места не находил.

Я тогда был еще молодым, полным сил и, несмотря на все пережитое, довольно веселым и озорным.

Когда директор, в который раз, в отчаянии воскликнул: “Как быть? Что делать?”, я ляпнул: “А давайте, я сыграю ведьму!”

Все, обещая мне всяческую поддержку (роли я со-

вершенно не знал), окружили меня, заверяя, что будут подсказывать, показывать из-за кулис и так далее.

Общими усилиями на меня поспешно натянули разные тряпки, составлявшие одеяние Бабы-Яги, к счастью, довольно просторное, хотя несколько коротковатое. Я надел под него длинные красные сапоги Ивана-царевича, приклеил длинный крючковатый нос, нацепил косматый парик; провел на лице кучу морщин, припудрился, взлохматил брови. Глянул в большое зеркало: увидел, как мне показалось, чересчур уж рослую ведьму. Но надо было спасти спектакль. Я сел верхом на метлу и с буйным разбойничьим свистом вылетел на сцену.

Можно представить, как обрадовалась публика при виде огромной, несуразной Бабы-Яги.

“Приземлившись”, я, пользуясь метлой, как детской лошадкой, “обскакал” сцену из конца в конец; потом “усмирил” метлу, проковылял к костру, над которым дымился огромный чан с зельем, нюхнул, затряс косматой головой и трижды оглушительно чихнул. Зал завыл от восторга. А я неприметно глянул в кулисы, ожидая обещанной подсказки — что делать, что говорить?..

Но в кулисах и за ними никто, от душившего всех смеха не мог слова вымолвить. Директор, режиссер, помреж и артисты держались за животы и только стонали при виде меня.

Поняв, что надеяться не на кого, я снова сунул нос в чан с зельем, зафукал, рывкнул и пустился в пляс вокруг костра, выкрикивая “заклинания”.

Что я выплясывал? Боюсь сказать. Тут были и прыжки, и взмахи рук, то плавные, то резкие, даже с элемен-

тами “дирижирования” (учебных упражнений на координацию движений). Сплошная импровизация. Фейерверк движений.

А “заклинания”!... Тут я использовал целый арсенал упражнений по дикции, включая скороговорки, благо проводил по сценической речи занятия с актерами. “Джубу-дзу, джубу-дзы, рла-рла, лры-лра, была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, на Фрола Лавру навру, курлу-мурлу, кырла-мырла” и так далее. Зал грохотал от восторга: в “заклинаниях” звучало немало знакомых детворе скороговорок. Понятно, что под всю эту белиберду я подкладывал определенное отношение, сопровождал все выкрики жестикуляцией, придавая убедительность “колдовству”. Знал я только, что в конце сцены должен пуститься в погоню за Иваном-царевичем. Войдя во вкус, я вместо пяти-шести “развел” картину колдовства на добрых десять-пятнадцать минут. Но зал был в диком восторге, а за кулисами вся труппа во главе с директором задыхалась от смеха.

Под аплодисменты зараженных ведьминым азартом зрителей я ускакал в кулисы.

— Молодец! — Похвалил меня обычно скупой на комплименты главный режиссер. — Очень хорошо. Чутьточку переборщил, но здорово! Баба-Яга — твоя. Будешь играть ее постоянно. Так я распростился с бесцветной ролью царевича и стал, сохраняя большинство импровизаций, играть Бабу-Ягу.

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

(На сексуальные темы)

Было мне около четырнадцати лет. В голове теснились впечатления от прочитанных сочинений Пушкина, Льва Толстого, Гюго, Шекспира, Шиллера, а заодно от научных книг Брема, Фабра, Камилла Фламариона, к которым будь они не проглочены в детстве, я бы вряд ли в зрелом возрасте обратился. Однако, каким образом появляются на свет дети, я не знал. В свое время меня удовлетворило объяснение матери, что из живота, и я понял, что вышел в этот мир вроде как из пупка мамы, которая после замужества очень захотела иметь ребенка. В книгах и тогдашних фильмах ничего, подобно нынешним, не рассказывалось и не показывалось. Твердо зная, что найден не где-то в капусте, я примирился с мыслью о некотором предродовом пребывании в материнском животе, что называлось беременностью, с последующим выходом в свет через пуп.

Усыновленный после смерти родителей братом отца, старым холостяком дядей Борисом, я продолжал много читать, а поздними вечерами, когда дядя ложился в постель, рассказывал ему о прочитанном за день и наизусть декламировал поэмы Пушкина, Лермонтова и Алексея Толстого, которого люблю и теперь.

В свою очередь, дядя, известный ученый-микробиолог, предостерегал меня об опасностях венерических заболеваний и коварстве женщин, которые на каждом шагу обманывают мужчин, очень корыстолюбивы и вредны. Делая понятные исключения для моей покойной мамы и еще двух-трех особ, дядя грозил, что если

какая-либо “девица” вдруг сообщит, что забеременела от меня, он меня выгонит из дому и отправит из родного Киева “в глушь, в Самару”, к маминим родным, не удосужившимся после ее смерти написать мне хоть одно письмо. Дядины беседы крепко запали мне в душу.

Как-то во время лыжной прогулки я и двое одноклассников сделали привал и один из приятелей достал из-за пазухи тоненькую книжку. Она называлась “За закрытой дверью” и состояла из советов врача по гигиене брака. Приятель увлеченно читал, второй внимательно слушал, а я никак не мог примириться с грязным содержанием книжонки, порочившей тайну моего зачатия.

— Тут же о половых сношениях. — Важно пояснял приятель. — Вот ты — как появился? Кто тебя сделал? — И он пытался внушить мне понятие о половом акте. Приятель был сыном эстрадной певицы и, живя в одной комнате с матерью, имел возможность тайком наблюдать за поведением нескольких “пап”.

— Вот так тебя сделали. — Резюмировал он.

Но все мое существо возмущалось: я не мог и не хотел поверить, что сотворен таким постыдным способом.

— Нет. — Возразил я. — Такими делами занимаются только проститутки и фраеры (имел о них “понятие”...).

— А ты как родился? — Допыгывались уже оба приятеля.

— Как? Как? Мама и папа, порядочные люди, познакомились, пошли в ЗАГС, там поцеловались и стали мужем и женой.

Тут что-то нас отвлекло и мы продолжили лыжную прогулку.

Наступила весна, чудесная киевская весна, когда 1 апреля уже ходили в костюмах, а 1 мая весь город высыпал на пляж и все купались, не боясь простудиться.

Как-то после уроков я проводил время в гостях у знакомых. А вечером, когда стали расходиться по домам, пошел проводить одну милую девочку примерно моего возраста. Это была симпатичная кареглазая шатенка. Как сейчас помню: к крыльцу ее дома путь лежал через небольшой садик. Был светлый лунный вечер. Мы пожали, прощаясь, руки (она была одного роста со мной) и я увидел перед своими глазами ее губы, такие красные и сочные. Не помня себя, плотно сомкнув свои губы, я ткнулся с “чмоком” в губы девочки. Я увидел ее вдруг расширившиеся испуганные глаза и, не оборачиваясь, побежал прочь.

Что я наделал?! Всплыли в памяти все нравоучения и предостережения дяди. Неужели она забеременеет?! Что тогда? В Самару?.. Алименты? (об этом я имел понятие)... Позор!

Придя домой, я не мог успокоиться. Но постарался взять себя в руки и с невинным видом, как обычно, прошел в комнату дяди. Он уже лежал в постели, с книгой в руках. После двух-трех незначущих фраз я решился:

— Дядя, скажи: от чего рождаются дети? От поцелуя в губы рождаются? Можно от этого забеременеть и родить?

— А ты сам как думаешь?

— Не знаю.

— Почему спрашиваешь?

— Да вот читаю книги и там так — поцеловались в губы, а через несколько страниц, я понимаю, что про-

шло время, женщина уже забеременела и родила ребенка. А ведь только поцеловалась. Значит, от поцелуя можно забеременеть.

— Гм. — Хмыкнул дядя, не отрываясь от книги.— Смотря как поцеловать. Если очень крепко, можно и забеременеть. — И он углубился в чтение.

Если б он оторвался от книги, то увидел бы, что я стал бледен, как потолок. — Как же я поцеловал? — Мучительно забродило в мозгу. — Очень крепко или не очень крепко? Забеременеет она или нет?

Следующие дни я ее не видел. Через месяц встретил на улице. Она шла по другой стороне и меня не видела. А я опасливо смотрел: пополнела или нет?..

Еще добрый месяц я опасался последствий... Она не забеременела. Но больше мы не встречались.

ОБИДА

В прошлом году в Петербурге я остановился у двоюродной сестры, нареченной в честь моей матери Диной. Дине было уже под семьдесят. После трудного, полного лишений детства она сумела получить высшее образование и стала превосходным врачом химико-бактериологом. Днями просиживала среди пробирок за микроскопом, определяя результаты анализов крови, мочи, мокроты, кала... Добросовестная и ответственная, притом очень скромная и добрая, она неизменно пользовалась любовью сотрудников и пациентов. Из сорока пяти лет своей деятельности она почти половину проработала в лабораториях рабочих поселков крайнего Севера, а выйдя на пенсию, посе-

лилась в Питере. Много хорошего сделала Дина. Не раз точно поставленные ею диагнозы спасали людям жизнь и здоровье. Увлеченная любимой работой, помогая много лет младшей сестре и старой матери (отец умер в войну), она так и не нашла времени для замужества и коротала свои осенние дни за телевизором и медицинскими книгами в обществе очаровательной собачки Чебурашки из породы пекинесов. С многими из бывших сослуживцев и даже пациентов Дина переписывалась и переписывается. Ее помнят, уважают и любят; с нею советуются и это внимание старых знакомых является наградой пожилой беспартийной врачихе, никогда не задумывавшейся о служебной карьере, почестях, званиях. Конечно, в душе она гордилась медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”, но других наград не было.

И вот как-то вечером, когда я вернулся с авторского концерта, мы стали вспоминать былое. Дина заговорила о благородной профессии врача, которой посвятила жизнь, и о своих внимательных сослуживцах.

— Когда я уходила на пенсию, они мне сочинили такое трогательное благодарственное письмо... Сейчас покажу.

Она подошла к шкафчику и бережно достала из резной шкатулки сложенный вчетверо лист бумаги.

Я развернул его. В левом верхнем углу стоял жирный штамп лечебного учреждения. Сбоку и внизу от него под сделанным от руки заголовком “Благодарственное письмо” крупным почерком было написано: “Уважаемая Дина Вениаминовна!” А далее следовали фразы, одна другой штампованнее и суше, вроде “заслуженного авторитета в коллективе”, “активного уча-

ствия в общественной работе и художественной самодеятельности” (у Дины был хороший голос, она пела и немного играла на фортепиано), “образцовой дисциплинированности” и так далее в том же роде.

Конечно, нельзя от всех медиков требовать литературных способностей Чехова, Вересаева или Аксенова, но...

Внизу стояло несколько подписей и печати профсоюза и лечебного учреждения. К сожалению, уверен, что миллионы благодарственных писем и характеристик, написанных с самыми благими намерениями, составлены таким же образом. Но я не мог сдержаться: “А почетную грамоту хоть от минздрава, облздрава или райздрава дали?”

— Нет. Зачем? — Простодушно ответила Дина. — Здесь же все написано. На собрании всего коллектива торжественно вручили это письмо.

— Ну и товарищи! — Взъярился я. — Не могли написать посердечнее: ни одного живого слова!

Дина расширила свои и без того большие синие глаза: “Дай сюда!” — Забрала у меня благодарственное письмо. — Ты — черствый человек. Злой!.. Для меня это самое дорогое, это... это признание моих заслуг. Это за всю мою жизнь!!.. — Она бережно спрятала письмо трясущимися руками в шкатулку и зарыдала, повторяя: “Какой ты черствый!.. Как ты не понимаешь?..”

Напрасно я пытался ее успокоить; оправдывался, извинялся. Она только качала седой головой, плакала и без конца повторяла: “Ты меня так обидел. Тебе не понять, не понять... никогда...”

Уверен, Дина и сейчас с болью вспоминает мою реакцию на ее самое сокровенное, чем она так гордилась,

на “Благодарственное письмо”, — единственное официальное признание ее бескорыстного многолетнего труда.

Я почувствовал, что действительно подлец, несдержанный, тупой, неспособный догадаться о душевных порывах и ранимых чувствах другого. Сколько почетных грамот понаполучал я, сколько подписал их и вручал?! Грамот, почетных грамот, благодарственных писем-бумажек!.. А ведь в них, в их штампованных текстах, в их, с моей точки зрения, сухих выражениях люди находили и находят признание своего великого труда, дела всей жизни, черпают материалы для лучших воспоминаний, силу для перенесения новых испытаний....

Как тут не вспомнить штампованное выражение “душевная чуткость”...

ОБ АВТОРЕ

Александр Клейн (литературный и сценический псевдоним Клейна Рафаила Соломоновича) — член Союза писателей и театральных деятелей СССР и России, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РК, родился в 1922 году в Киеве. Рано осиротел, был усыновлен холостым братом отца, известным ученым-микробиологом Б.И.Клейном. После его ареста жил год в Самаре, где закончил десятилетку. Поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института. Отлично учился. С 3 курса добровольно ушел на фронт. Участвовал в боях на знаменитом Лужском рубеже. При выходе из окружения, контуженный, был захвачен в плен, где скрыл свое имя и происхождение. Пятый побег из плена удался. Но в контрразведке СМЕРШ заставили беглеца оклеветать самого себя, а трибунал, без свидетелей и защиты, приговорил к расстрелу, впоследствии замененному 20 годами каторги. В тюрьмах и лагерях Сибири и Воркуты прошли еще двенадцать лет. В конце 1955 года последовала амнистия, а еще через десять лет — реабилитация. Артист, театровед, писатель — Александр Клейн — автор десяти пьес-сказок, в том числе семи по мотивам коми фольклора, поставленных во многих театрах России и СНГ, в том числе в Москве, автор первых монографий о сыктывкарских артистах и повести-сказки “Волшебный камень и книга Белой совы” по мотивам коми фольклора, выдержавшей уже два массовых издания, а также поэтических сборников. За последние пять лет вышли три книги А.Клейна — “Мой номер 2П-904” (автобиографические стихи), “Дитя

смерти” (Невыдуманный роман), “Клеймёные” (записки каторжника), получившие широкий отклик в России, в ближнем и дальнем зарубежье. Новая книга — “Улыбки неволи” — в своеобразном освещении рисует, ранее малоизвестные, подчас анекдотические стороны жизни, в основном, в разных условиях заключения, включая плен.

СОДЕРЖАНИЕ

Приглашение (Вместо предисловия)	3
За порогом разумного (общая часть)	4
“Камерная” музыка	14
Парадокс	20
Букет от райхсминистра	25
День рождения фюрера	29
А если бы я не говорил по-немецки... ..	35
С песней — на каторгу	37
Авторский “гонорар”	41
Свидание нагишом	43
Шмон в Александровском центре	47
Большой день	49
“Последние известия”	55
Генеральские лампы	56
“Государственное устройство”	61
Новый комбайн “Донбасс”	77
Все шуточки... ..	83
Как добывают спирт	84
“O tempora, o mores!”	88
Не судите	90
Игра судьбы (легенда о Н.К.Печковском)	100
Благодать!	110
“Что же это происходит?”	111
Юбилейный подарок	116
Испорченный концерт	122
Запретное (каторжанке)	128
Бывают в жизни встречи	128
Утренний выпуск	136

Глазами иностранца. Иоганн Вильгельм Гебхардт. “Да может ли такое быть в действительности” (перевод с немецкого А.Клейна)	139
“Аве Мария”	146
Пурга	152
Артист	164
Единственная	164
“Стихи на случай сохранились” ..	168
“Бухштабе-ренко!”	174
Воркута театральная	184
I. Музыкально-драматический театр	186
II. То, о чем никогда не писали (культбригады Воркуты)	210
III. Кукольная эпопея	240
Четыре этюда. 1951-1952	251
Девушка в красном	252
Ее зовут Алла	256
Бездна	263
Glogia	272
Невольные улыбки “Иду — и не верю”	276
Второе начало	277
Мы вовсе не изменились	287
Еще один дворцовый переворот	291
Серенада Хановея	294
Ленин и киска	298
Рослая ведьма	300
Первый поцелуй	305
Обида	308
Об авторе	312
ВЫШЛИ В СВЕТ	316

ВЫШЛИ В СВЕТ

Александр КЛЕЙН
МОЙ НОМЕР 2П - 904
(Автобиографические стихи)

Александр КЛЕЙН
ДИТЯ СМЕРТИ
(Невыдуманный роман)

Александр КЛЕЙН
КЛЕЙМЕННЫЕ
ИЛИ ОДИН СРЕДИ ОДИНОКИХ
(Записки каторжника)

Александр КЛЕЙН
УЛЫБКИ НЕВОЛИ
(Непридуманная жизнь. События. Судьбы. Случаи)

Александр (Рафаил) Соломонович Клейн
УЛЫБКИ НЕВОЛИ
(Невыдуманная жизнь. События. Судьбы. Случаи)
Издательство «Пролог»
Лицензия ЛР № 062661 от 26.05.1993 г.
Редактор А.С. Пышкин.
Технический редактор В.П. Стрелов
Художник И.В. Баженов
Подготовка макета С.М. Кичигин
Подписано в печать 11.11.1997 г.
Тираж 1200 экз.

